

Андрей Платонов

Река
ПОТУДАНЬ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

**РЕКА
ПОТУДАНЬ**

СБОРНИК РАССКАЗОВ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА

1 9 8 7

Художник
Г. Вильфарт

РЕКА ПОТУДАНЬ

РАССКАЗ

Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире, по губерниям снова стало тихо и малоллюдно: некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны, а кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели, с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, — шел по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть — она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге; душа их уже переменялась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы, — они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-четыре года назад; потому что они превратились совсем в других людей — они выросли от возраста и поумнели, они стали терпеливей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас стала идеей их пока еще

небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны.

Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные красноармейцы. Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ремеслом и тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни.

По взгорью, что далеко простерто над рекою Потудань, уже вторые сутки шел ко двору, в малоизвестный уездный город, бывший красноармеец Никита Фирсов. Это был человек лет двадцати пяти от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом, — но это выражение его лица происходило, может быть, не от грусти, а от сдержанной доброты характера, либо от обычной сосредоточенности молодости. Светлые, давно нестриженные волосы его опускались из-под шапки на уши, большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу однообразной страны, точно пешеход был нездешний.

В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, текущего из родника по дну балки в Потудань. И пеший человек задремал на земле под солнцем, в сентябрьской траве, уже уставшей расти здесь с давней весны. Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов уснул в тишине глухого места. Насекомые летали над ним, плыла паутина, какой-то бродяга-человек переступил через него и, не тронув спящего, не заинтересовавшись им, пошел дальше по своим делам. Пыль лета и долгого бездождия высоко стояла в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет, но все равно время мира как обычно шло вдалеке

вослед солнцу... Вдруг Фирсов поднялся и сел, тяжело, испуганно дыша, точно он запалился в невидимом беге и борьбе. Ему приснился страшный сон, что его душит своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цопкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи.

Фирсов умылся в ручье и прополоскал рот, а потом пошел скорее дальше; дом его отца уже был близко, и к вечеру можно успеть дойти до него.

Как только смерклось, Фирсов увидел свою родину в смутной, начавшейся ночи. То было покатое, медленное нагорье, подымавшееся от берегов Потудани к ржаным, возвышенным полям. На этом нагорьи расположился небольшой город, почти невидимый сейчас благодаря темноте. Ни одного огня не горело там.

Отец Никиты Фирсова спал сейчас: он лег, как только вернулся с работы, когда еще солнце не зашло. Он жил в одиночестве, жена его давно умерла, два сына исчезли на империалистической войне, а последний сын, Никита, был на гражданской: он, может быть, еще вернется, — думал про последнего сына отец, — гражданская война идет близко около домов и по дворам и стрельбы там меньше, чем на империалистической. Спал отец помногу, — с вечерней зари до утренней, — иначе.

если не спать, он начинал думать разные мысли, воображать забытое, и сердце его мучилось в тоске по утраченным сыновьям, в печали по своей скучно прошедшей жизни. С утра он сразу уходил в мастерскую крестьянской мебели, где он уже много лет работал столяром — и там, среди работы, ему было более терпимо, он забывался. Но к вечеру ему делалось хуже в душе и, вернувшись на квартиру, в одну комнату, он поскорее, почти в испуге, засыпал до завтрашнего утра; ему и керосин был не нужен. А на рассвете мухи начинали кусать его в лысину, старик просыпался и долго, помаленьку, бережно одевался, обувался, умывался, вздыхал, топтался, убирал комнату, бормотал сам с собою, выходил наружу, смотрел там погоду и возвращался, — лишь бы потратить ненужное время, что оставалось до начала работы в мастерской крестьянской мебели.

В нынешнюю ночь отец Никиты Фирсова спал, как обычно, по необходимости и от усталости. Сверчок, уже которое лето, жил себе в завалинке дома и напевал оттуда в вечернее время — не то это был тот же самый сверчок, что и в позапрошлом лето, не то внук его. Никита подошел к завалинке и постучал в окошко отца; сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это пришел — незнакомый, поздний человек. Отец слез с деревянной старой кровати, на которой он спал еще с покойной матерью всех своих сыновей, и сам Никита родился когда-то на этой же кровати. Старый, худой человек был сейчас в подштанниках, от долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал свое-

го сына, но все еще смотрел и смотрел на него, желая наглядеться. Потом он побежал, небольшой и тощий как мальчик, кругом через сени и двор — отворять запертую на ночь калитку.

Никита вошел в старую комнату, с лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. Здесь пахло тем же запахом, что и в детстве, что и три года назад, когда он ушел на войну; даже запах материнского подола еще чувствовался тут — в единственном месте на всем свете. Никита снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним, босой и в подштанниках, не смея еще ни поздороваться как следует, ни заговорить.

— Ну как там буржуи и кадеты? — спросил он немного погодя. — Всех их побили, иль еще маленько осталось?

— Да нет, почти всех, — сказал сын.

Отец кратко, но серьезно задумался: все-таки ведь целый класс умертвили, это большая работа была.

— Ну да, они же квелые! — сообщил старик про буржуев. — Чего они могут, они только даром жить привыкли...

Никита встал перед отцом, он был теперь выше его головы на полторы. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Никита положил руку на голову отца и привлек его к себе на грудь. Старый человек прислонился к сыну и начал часто, глубоко дышать, словно он пришел к своему отдыху.

На одной улице того же города, выходявшей прямо в поле, стоял деревянный дом с зелеными

ставнями. В этом доме жила когда-то вдовая старушка, учительница городского училища; вместе с нею жили ее дети — сын, мальчик лет десяти, и дочь, белокурая девочка Люба, пятнадцати лет.

Отец Никиты Фирсова хотел несколько лет тому назад жениться на вдовой учительнице, но вскоре сам оставил свое намерение. Два раза он брал с собою в гости к учительнице Никиту, тогда еще мальчика, и Никита видел там задумчивую девочку Любу, которая сидела и читала книжки, не обращая внимания на чужих гостей.

Старая учительница угощала столяра чаем с сухарями и говорила что-то о просвещении народного ума и о ремонте школьных печей. Отец Никиты сидел все время молча; он стеснялся, кричал, кашлял и курил цыгарки, а потом с робостью пил чай из блюдца, не трогая сухарей, потому что, дескать, давно уже сыт.

В квартире учительницы, во всех ее двух комнатах и в кухне, стояли стулья, на окнах висели занавески, в первой комнате находились пианино и шкаф для одежды, а в другой, дальней комнате имелись кровати, два мягких кресла из красного бархата и там же на стенных полках помещалось много книг — наверно целое собрание сочинений. Отцу и сыну эта обстановка казалась слишком богатой, и отец, посетив вдову всего два раза, перестал к ней ходить. Он даже не управился ей сказать, что хочет на ней жениться. Но Никите было интересно увидеть еще раз пианино и читающую, задумчивую девочку, поэтому он просил отца жениться на старушке, чтобы ходить к ней в гости.

— Нельзя, Никит! — сказал в то время отец. — У меня образованья мало, о чем я с ней буду

говорить! А к нам их позвать — стыдно: у нас посуды нету, харчи нехорошие... Ты видал у них кресла какие?—старинные, московские! А шкаф?—по всему фасау резьба и выборка: я понимаю!.. А дочь! — Она наверно курсисткой будет.

И отец теперь уже несколько лет не видел своей старой невесты, лишь иногда он, может быть, скукал по ней или просто размышлял.

На другой день после возвращения с гражданской войны Никита пошел в военный комиссариат, чтобы его отметили там в запас. Затем Никита обошел весь знакомый, родной город, и у него заболело сердце от вида устаревших, небольших домов, сотлевших заборов и плетней и редких яблонь по дворам, многие из которых уже умерли, засохли навсегда. В его детстве эти яблони еще были зелеными, а одноэтажные дома казались большими и богатыми, населенными таинственными умными людьми, и улицы тогда были длинными, лопухи высокими, и бурьян на пустырях, на заброшенных огородах представлялся в то давнее время лесною, жуткою чащей. А сейчас Никита увидел, что маленькие дома жителей были жалкими, низкими, их надо красить и ремонтировать, бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями, и все улицы скоро кончались волевою землей, светлым небесным пространством, — город стал небольшим. Никита подумал, что значит им уже много жизни прожито, если большие, таинственные предметы обратились в маленькие и скучные.

Он медленно прошел мимо дома с зелеными ставнями, куда он некогда ходил в гости с отцом. Зеленую краску на ставнях он знал только по па-

мяти, теперь от нее остались одни слабые следы, — она выцвела от солнца, была вымыта ливнями и дождями, вылиняла до древесины; и железная крыша на доме уже сильно заржавела — теперь наверно дожди проникают через крышу и мокнет потолок над пианино в квартире. Никита внимательно посмотрел в окна этого дома; занавесок на окнах теперь не было, по ту сторону стекол виднелась чужая тьма. Никита сел на скамейку сколо калитки обветшалого, но все же знакомого дома. Он думал, что, может быть, кто-нибудь сыграет на пианино внутри дома, тогда он послушает музыку. Но в доме было тихо, ничего неизвестно. Подождав немного, Никита поглядел в щель забора на двор; там росла старая крапива, пустая тропинка вела меж ее зарослями в сарай и три деревянные ступеньки подымались в сени. Должно быть, умерли уже давно и учительница-старушка и ее дочка Люба, а мальчик ушел добровольцем на войну...

Никита направился к себе домой. День пошел к вечеру, — скоро отец придет ночевать, надо будет подумать с ним, как жить дальше и куда поступать на работу.

На главной улице уезда было небольшое гулянье, потому что народ начал оживать после войны. Сейчас по улице шли служащие, курсистки, демобилизованные, выздоравливающие от ран, подростки, люди домашнего и кустарного труда и прочие, а рабочий человек выйдет сюда на прогулку позже, когда совсем смеркнется. Одеты люди были в старую одежду, по-бедному, либо в поношенное военное обмундирование времен империализма.

Почти все прохожие, даже те, которые шли под

руку, будучи женихами и невестами, имели при себе что-нибудь для хозяйства. Женщины несли в домашних сумках картофель, а иногда рыбу; мужчины держали подмышкой пайковый хлеб или половину коровьей головы, либо скупое хранили в руках требуху на приварок. Но редко кто шел в унынии, разве только вовсе пожилой, истомленный человек. Более молодые обычно смеялись и близко глядели в лица друг другу, воодушевленные и доверчивые, точно они были накануне вечного счастья.

— Здравствуйте! — несмело со стороны сказала женщина Никите Фирсову.

И голос тот сразу коснулся и согрел его, будто кто-то, дорогой и потерянный, отозвался ему на помощь. Однако Никите показалось, что это ошибка и это поздоровались не с ним. Боясь ошибиться, он медленно поглядел на ближних прохожих. Но их сейчас было всего два человека, и они уже миновали его. Никита оглянулся, — большая, выросшая Люба остановилась и смотрела в его сторону. Она грустно и смущенно улыбалась ему.

Никита подошел к ней и бережно оглядел ее — точно ли она сохранилась вся в целости, потому что даже в воспоминании она для него была драгоценностью. Австрийские башмаки ее, зашнурованные бечевою, сильно износились, кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше наверно нехватило материала, — и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело. Поверх платья был надет старый дамский жакет, — наверно его носила еще

мать Любы в свою девичью пору, — а на голове Любы ничего не было, одни простые волосы, свитые пониже шеи в светлую прочную косу.

— Вы меня не помните? — спросила Люба.

— Нет, я вас не забыл, — ответил Никита.

— Забывать никогда не надо, — улыбнулась Люба.

Ее чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо, и его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой.

Никита пошел с Любой одной к ее дому, — она жила все там же. Мать ее умерла не так давно, а младший брат кормился в голод около красноармейской полевой кухни, потом привык там бывать и ушел вместе с красноармейцами на юг против неприятеля.

— Он кашу там есть привык, а дома ее не было, — говорила Люба про брата.

Люба теперь жила лишь в одной комнате, — больше ей не надо. С замершим чувством Никита осмотрелся в этой комнате, где он в первый раз видел Любу, пианино и богатую обстановку. Сейчас здесь не было уже ни пианино, ни шкафа с резьбою по всему фасу, остались одни два мягких кресла, стол и кровать, и сама комната теперь перестала быть такою интересной и загадочной, как тогда в ранней юности, — обои на стенах выцвели и ободрались, пол истерся, около изразцовой печи находилась небольшая железная печка, которую можно истопить горстью щепок, чтобы немного согреться около нее.

Люба вынула общую тетрадь из-за пазухи, по-

том сняла башмаки и осталась босая. Она училась теперь в уездной академии медицинских наук: в те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание; бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?

— Они мне ноги трут, — сказала Люба про свои башмаки. — Вы посидите еще, а я лягу спать, а то мне очень сильно есть хочется, а я не хочу думать об этом...

Люба, не раздеваясь, залезла под одеяло на кровати и положила косу себе на глаза.

Никита молча просидел часа два-три, пока Люба не проснулась. Тогда уже настала ночь и Люба встала в темноте.

— Моя подруга наверно сегодня не придет, — грустно сказала Люба.

— А что — она вам нужна? — спросил Никита.

— Даже очень, — произнесла Люба. — У них большая семья и отец военный, она мне приносит ужин, если у нее что-нибудь останется... Я поем, и мы с ней начинаем заниматься...

— А керосин у вас есть? — спросил Никита.

— Нет, мне дрова дали... Мы печку зажигаем — мы на полу садимся и видим от огня.

Люба беспомощно, стыдливо улыбнулась, словно ей пришла на ум жестокая и грустная мысль.

— Наверно ее старший брат, мальчишка, не заснул, — сказала она. — Он не велит, чтоб меня его сестра кормила, ему жалко... А я не виновата! Я и так не очень люблю кушать: это не я — голова сама начинает болеть, она думает про хлеб и мешает мне жить и думать другое...

— Люба! — позвал около окна молодой голос.

— Женя! — отозвалась Люба в окно.

Пришла подруга Любы. Она вынула из кармана своей куртки четыре больших печеных картошки и положила их на железную печку.

— А гистологию достала? — спросила Люба.

— А у кого ее доставать-то? — ответила Женя. — Меня в очередь в библиотеке записали...

— Ничего, обойдемся, — сообщила Люба. — Я две первых главы на факультете на память выучила. Я буду говорить, а ты запишешь. Пройдет?

— А раньше-то! — засмеялась Женя.

Никита растопил печку для освещения тетрадей огнем и собрался уходить к отцу на ночлег.

— Вы теперь не забудете меня? — попрощалась с ним Люба.

— Нет, — сказал Никита. — Мне больше некого помнить.

Фирсов полежал дома после войны два дня, а потом поступил работать в мастерскую крестьянской мебели, где работал его отец. Его зачислили плотником на подготовку материала, и расценок его был ниже, чем у отца, почти в два раза. Но Никита знал, что это временно, пока он не привыкнет к мастерству, а тогда его переведут в столяры и заработок станет лучше.

Работать Никита никогда не отвыкал. В Красной армии тоже люди не одной войною занимались, — на долгих постах и в резервах красноармейцы рыли колодцы, ремонтировали избышки бедняков в деревнях и сажали кустарник в вершинах действующих оврагов, чтобы земля дальше не размывалась. Война ведь пройдет, а жизнь останется, и о ней надо было заранее позаботиться.

Через неделю Никита снова пошел в гости к Любе; он понес ей в подарок вареную рыбу и хлеб — свое второе блюдо от обеда в рабочей столовой.

Люба спешила читать по книжке у окна, пользуясь тем, что еще не погасло солнце на небе; поэтому Никита некоторое время сидел в комнате у Любы молчаливо, ожидая ночной темноты. Но вскоре сумрак сравнялся с тишиной на уездной улице, а Люба потеряла свои глаза и закрыла учебную книгу.

— Как поживаете? — тихо спросила Люба.

— Мы с отцом живем, мы — ничего, — сказал Никита. — Я вам там покушать принес, — вы съешьте, пожалуйста, — попросил он.

— Я съем, спасибо, — произнесла Люба.

— А спать не будете? — спросил Никита.

— Не буду, — ответила Люба. — Я же поужинаю сейчас, я буду сыта!

Никита принес из сеней немного мелких дровишек и разжег железную печку, чтобы был свет для занятий. Он сел на пол, открыл печную дверцу и клал щепки и худые короткие поленья в огонь, стараясь, чтоб тепла было поменьше, а света побольше. Съев рыбу с хлебом, Люба тоже села на пол, против Никиты и около света из печки, и начала учить по книжке свою медицину.

Она читала молча, однако, изредка шептала что-то, улыбалась и записывала мелким, быстрым почерком несколько слов в блокнот — наверно самые важные вещи. А Никита только следил за правильным горением огня, и лишь время от времени — не часто — он смотрел в лицо Любы, но затем опять подолгу глядел на огонь, потому что боялся надоесть Любе своим взглядом. Так время

шло, и Никита думал с печалью, что скоро оно пройдет совсем и ему настанет пора уходить домой.

В полночь, когда пробили часы на колокольне, Никита спросил у Любы, отчего не пришла ее подруга, по имени Женя.

— А у нее тиф повторился, она наверно умрет, — ответила Люба и опять стала читать медицину.

— Вот это жалко! — сказал Никита, но Люба ничего не ответила ему.

Никита представил себе в мысли больную, горячую Женю, — и в сущности он тоже мог бы ее искренне полюбить, если б узнал ее раньше и если бы она была немного добра к нему. Она тоже, кажется, прекрасная: зря он ее не разглядел тогда во тьме и плохо запомнил.

— Я уже спать хочу, — прошептала Люба вздыхая.

— А поняли все, что прочитали-то? — спросил Никита.

— Все чисто! Хотите расскажу? — предложила Люба.

— Не надо, — отказался Никита. — Вы лучше берегите при себе, а то я все равно забуду.

Он подмел веником сор около печки и ушел к отцу.

С тех пор он посещал Любу почти каждый день, лишь иногда пропуская сутки или двое, ради того, чтоб Люба поскучала по нем. Скучала она или нет — неизвестно, но в эти пустые вечера Никита вынужден был ходить по десять, по пятнадцать верст, несколько раз вокруг всего города, желая удержать себя в одиночестве, вытер-

петь без утешения тоску по Любе и не пойти к ней.

У нее в гостях он обыкновенно занимался тем, что топил печь и ожидал, когда она ему скажет что-нибудь в промежуток, отвлекшись от своего учения по книге. Каждый раз Никита приносил Любе на ужин немного пищи из столовой при мастерской крестьянской мебели; обедала же она в своей академии, но там давали кушать слишком мало, а Люба много думала, училась и вдобавок еще росла, и ей нехватало питания. В первую же свою получку Никита купил в ближней деревне коровьи ноги и затем всю ночь варил студень на железной печке, а Люба до полночи занималась с книгами и тетрадями, потом чинила свою одежду, штопала чулки, мыла полы на рассвете и купалась на дворе в кадучке с дождевой водой, пока еще не проснулись посторонние люди.

Отцу Никиты было скучно жить все вечера одному, без сына, а Никита не говорил, куда он ходит. «Он сам теперь человек, — думал старик. — Мог же ведь быть убитым или раненым на войне, а раз живет — пусть ходит!»

Однажды старик заметил, что сын принес откуда-то две белых булки. Но он их сразу же завернул в отдельную бумагу, а его не угостил. Затем Никита, как обычно, надел фуражку и пошел до полночи, и обе булки тоже взял с собой.

— Никит, возьми меня с собой! — попросился отец. — Я там ничего не буду говорить, я только гляну... Там интересно, — должно быть, что-нибудь выдающееся!

— В другой раз, отец, — стесняясь, сказал Никита. — А то тебе сейчас спать пора, завтра ведь на работу надо итти...

В тот вечер Никита не застал Любы, ее не было дома. Он сел тогда на лавочку у ворот и стал ожидать хозяйку. Белые булки он положил себе за пазуху и согревал их там, чтоб они не остыли до прихода Любы. Он сидел терпеливо до поздней ночи, наблюдая звезды на небе и редких прохожих людей, спешивших к детям в свои жилища, слушал звон городских часов на колокольне, лай собак по дворам и разные тихие, неясные звуки, которые днем не существуют. Он бы мог прожить здесь в ожидании наверно до самой своей смерти.

Люба неслышно появилась из тьмы перед Никитой. Он встал перед ней, но она сказала ему: «идите лучше домой» — и заплакала. Она пошла к себе в квартиру, а Никита обождал еще снаружи в недоумении и пошел за Любой.

— Женя умерла, — сказала Люба ему в комнате. — Что я теперь буду делать?..

Никита молчал. Теплые булки лежали у него за пазухой — не то их надо вынуть сейчас, не то теперь уж ничего не нужно. Люба легла в одежде на кровать, отвернулась лицом к стене и плакала там сама для себя, беззвучно и почти не шевелясь.

Никита долго стоял один в ночной комнате, стесняясь помешать чужому грустному горю. Люба не обращала на него внимания, потому что печаль от своего горя делает людей равнодушными ко всем другим страдающим. Никита самовольно сел на кровать в ногах у Любы и вынул булки из-за пазухи, чтобы деть их куда-нибудь, но пока не находил для них места.

— Давайте я с вами буду теперь! — сказал Никита.

— А что вы будете делать? — спросила Люба в слезах.

Никита подумал, боясь ошибиться или нечаянно обидеть Любу.

— Я ничего не буду, — ответил он. — Мы станем жить как обыкновенно, чтоб вы не мучились.

— Обождем, нам нечего спешить, — задумчиво и расчетливо произнесла Люба. — Надо вот подумать, в чем Женю хоронить, — у них гроба нету...

— Я завтра его принесу, — пообещал Никита и положил булки на кровать.

На другой день Никита спросил разрешение у мастера и стал делать гроб; их всегда позволяли делать свободно и за материал не высчитывали. По неумению он делал его долго, но зато тщательно и особо чисто отделал внутреннее ложе для покойной девушки; от воображения умершей Жени Никита сам расстроился и немного покапал слезами в стружки. Отец, проходя по двору, подошел к Никите и заметил его расстройство.

— Ты что тоскуешь: невеста умерла? — спросил отец.

— Нет, подруга ее, — ответил он.

— Подруга? — сказал отец. — Да чума с ней!.. Дай я тебе борта в гробу поравняю, у тебя некрасиво вышло, точности не видать!

После работы Никита понес гроб к Любе; он не знал, где лежит ее мертвая подруга.

В тот год долго шла теплая осень, и народ был доволен. «Хлебу вышел недород, так мы на дровах сбережем» — говорили экономические люди. Никита Фирсов загодя заказал сшить из своей красноармейской шинели женское пальто для Любы, но пальто уже приготовили, а надобности, за

теплым временем, в нем все еще не было. Никита попрежнему ходил к Любе на квартиру, чтобы помогать ей жить и самому в ответ получать питание для наслаждения сердца.

Он ее спрашивал один раз, как они дальше будут жить — вместе или отдельно. А она отвечала, что до весны не имеет возможности чувствовать свое счастье, потому что ей надо поскорее окончить академию медицинских знаний, а там — видно будет. Никита выслушал это далекое обещание, он не требовал большего счастья, чем оно уже есть у него благодаря Любе, и он не знал, есть ли оно еще лучшее, но сердце его продрогло от долгого терпения и неуверенности — нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек. Люба иногда с улыбкой смотрела на него своими светлыми глазами, в которых находились большие, черные, непонятные точки, а лицо ее вокруг глаз было исполнено добром.

Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: «Ну будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива».

Никита поспешил уйти к отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к Любе несколько дней под ряд. «Я буду читать, — решал он, — и начну жить по-настоящему, а Любу забуду, не стану ее помнить и знать. Что она такое особенное — на свете великие миллионы живут, еще лучше ее есть! Она некрасивая!»

Наутро он не встал с подстилки, на которой спал на полу. Отец, уходя на работу, попробовал его голову и сказал:

— Ты горячий: ложись на кровать! Поболей немножко, потом выздоровеешь... Ты на войне нигде не раненный?

— Нигде, — ответил Никита.

Под вечер он потерял память; сначала он видел все время потолок и двух поздних предсмертных мух на нем, приютившихся греться там для продолжения жизни, а потом эти же предметы стали вызывать в нем тоску, отвращение, — потолок и мухи словно забрались к нему внутрь мозга, их нельзя было изгнать оттуда и перестать думать о них все более увеличивающейся мыслью, съедающей уже головные кости. Никита закрыл глаза, но мухи кипели в его мозгу, он вскочил с кровати, чтобы прогнать мух с потолка, и упал обратно на подушку: ему показалось, что от подушки еще пахло материнским дыханием, — мать ведь здесь же спала рядом с отцом, — Никита вспомнил ее и забылся.

Через четыре дня Люба отыскала жилище Никиты Фирсова и явилась к нему в первый раз сама. Шла только середина дня; во всех домах, где жили рабочие, было безлюдно — женщины ушли доставать провизию, а дошкольные ребятишки разбрелись по дворам и полянам. Люба села на кровать к Никите, погладила ему лоб, протерла глаза концом своего носового платка и спросила:

— Ну что, где у тебя болит?

— Нигде, — сказал Никита.

Сильный жар уносил его в своем течении вдаль ото всех людей и ближних предметов, и он с трудом видел сейчас и помнил Любу, боясь ее потерять в темноте равнодушного рассудка; он взял рукой за карман ее пальто, сшитого из красноармейской шинели, и держался за него, как

утомленный пловец за отвесный берег, то утопая, то спасаясь. Болезнь все время стремилась увлечь его на сияющий, пустой горизонт, — в открытое море, чтоб он там отдохнул на медленных, тяжелых волнах.

— У тебя грипп наверно, я тебя вылечу, — сказала Люба. — А может, и тиф!.. Но ничего — не страшно!

Она подняла Никиту за плечи и посадила его спиной к стене. Затем быстро и настойчиво Люба передела Никиту в свое пальто, нашла отцовский шарф и повязала им голову больного, а ноги его всунула в валенки, валявшиеся до зимы под кроватью. Обхватив Никиту, Люба велела ему ступать ногами и вывела его, озябшего, на улицу. Там стоял извозчик. Люба подсадила больного в пролетку, и они поехали.

— Не жилец народ живет! — сказал извозчик, обращаясь к лошади, беспрерывно погоняя ее вожжами на уездную мелкую рысь.

В своей комнате Люба раздела и уложила Никиту в кровать и укрыла его одеялом, старой ковровой дорожкой, материнскою ветхою шалью, — всем согревающим добром, какое у нее было.

— Зачем тебе дома лежать? — удовлетворенно говорила Люба, подтыкая одеяло под горячее тело Никиты. — Ну зачем!.. Отец твой на работе, ты лежишь целый день один, ухода ты никакого не видишь и тоскуешь по мне...

Никита долго решал и думал, где Люба взяла денег на извозчика. Может быть, она продала свои австрийские башмаки или учебную книжку (она ее сначала выучила наизусть, чтобы не нужна была), или же она заплатила извозчику всю месячную стипендию...

Ночью Никита лежал в смутном сознании: иногда он понимал, где сейчас находится, и видел Любу, которая топила печку и стряпала пищу на ней, а затем Никита наблюдал незнакомые видения своего ума, действующего отдельно от его воли в сжатой, горячей тесноте головы.

Озноб его все более усиливался. Время от времени Люба пробовала ладонью лоб Никиты и считала пульс в его руке. Поздно ночью она напоила его кипяченой, теплой водой и, сняв верхнее платье, легла к больному под одеяло, потому что Никита дрожал от лихорадки и надо было согреть его. Люба обняла Никиту и прижадала к себе, а он свернулся от стужи в комок и прильнул лицом к ее груди, чтобы теснее ощущать чужую, высшую, лучшую жизнь и позабыть свое мученье, свое продрогшее пустое тело. Но Никите жалко было теперь умирать, — не ради себя, но ради того, чтоб иметь прикосновение к Любе и к другой жизни, — поэтому он спросил шопотом у Любы, выздоровеет он или помрет: она ведь училась и должна знать.

Люба стиснула руками голову Никиты и ответила ему:

— Ты скоро поправишься... Люди умирают потому, что они болеют одни и некому их любить, а ты со мной сейчас...

Никита пригрелся и уснул.

Недели через три Никита поправился. На дворе уже выпал снег, стало вдруг тихо повсюду, и Никита пошел зимовать к отцу; он не хотел мешать Любе до окончания академии, пусть ум ее разовьется полностью весь, она тоже из бедных

людей. Отец обрадовался возвращению сына, хотя и посещал его у Любы из двух дней в третий, принося каждый раз для сына харчи, а Любе какой бы то ни было гостинец.

Днем Никита опять стал работать в мастерской, а вечером посещал Любу и зимовал спокойно: он знал, что с весны она будет его женой и с того времени наступит счастливая, долгая жизнь. Изредка Люба трогала, шевелила его, бегала от него по комнате, и тогда — после игры — Никита осторожно целовал ее в щеку. Обычно же Люба не велела ему напрасно касаться себя.

— А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить! — говорила она. — Я ведь не такая вкусная: тебе это кажется!..

В дни отдыха Люба и Никита ходили гулять по зимним дорогам за город или шли, полуобнявшись, по льду уснувшей реки Потудани — далеко вниз по летнему течению. Никита ложился животом и смотрел вниз под лед, где видно было, как тихо текла вода. Люба тоже устраивалась рядом с ним и, касаясь друг друга, они наблюдали укромный поток воды и говорили, насколько счастлива река Потудань, потому что она уходит в море и эта вода подо льдом будет течь мимо берегов далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы. Подумав об этом немного, Люба велела Никите тотчас же вставать со льда; Никита ходил теперь в старом отцовском пиджаке на вате, он ему был короток, грел мало, и Никита мог простудиться.

И вот они терпеливо дружили вдвоем почти всю долгую зиму, томимые предчувствием своего близкого, будущего счастья. Река Потудань тоже всю зиму таилась подо льдом и озимые хлеба

дремали под снегом, — эти явления природы успокаивали и даже утешали Никиту Фирсова: не одно его сердце лежит в погребении перед весной. В феврале, просыпаясь утром, он прислушивался — не жужжат ли уже новые мухи, а на дворе глядел на небо и на деревья соседнего сада: может быть, уже прилетают первые птицы из дальних стран. Но деревья, травы и зародыши мух еще спали в глубине своих сил и в зачатке.

В середине февраля Люба сказала Никите, что выпускные экзамены у них начинаются двадцатого числа, потому что врачи очень нужны и народу некогда их долго ждать. А к марту экзамены уже кончатся, — поэтому пусть снег лежит и река течет подо льдом хоть до июля месяца! Радость их сердца наступит раньше тепла природы.

На это время — до марта месяца — Никита захотел уехать из города, чтобы скорее перетерпеть срок до совместной жизни с Любой. Он назвал в мастерской крестьянской мебели итти с бригадой столяров чинить мебель по сельсоветам и школам в деревнях.

Отец тем временем — к марту месяцу — сделал неспеша в подарок молодым большой шкаф, подобный тому, который стоял в квартире Любы, когда еще ее мать была приблизительной невестой отца Никиты. На глазах старого столяра жизнь повторялась уже по второму или по третьему своему кругу. Понимать это можно, а изменить, пожалуй, что нельзя, и, вздохнув, отец Никиты положил шкаф на санки и повез его на квартиру невесты своего сына. Снег потеплел и таял против солнца, но старый человек был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли. Он думал втайне, что и сам

бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери ее постеснялся, но стыдно как-то и нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девицу. И отец Никиты полагал отсюда, что жизнь далеко не нормальна. Сын вот только явился с войны и опять уходит из дома, теперь уж навсегда. Придется, видно, ему, старику, взять к себе хоть побирушку с улицы — не ради семейной жизни, а чтоб, вроде домашнего ежа или кролика, было второе существо в жилище: пусть оно мешает жить и вносит нечистоту, но без него перестанешь быть человеком.

Сдав Любе шкаф, отец Никиты спросил у нее, когда ему нужно приходиться на свадьбу.

— А когда Никита приедет: я готова! — сказала Люба.

Отец ночью пошел на деревню за двадцать верст, где Никита работал по изготовлению школьных парт. Никита спал в пустом классе на полу, но отец побудил его и сказал ему, что пора идти в город — можно жениться.

— Ты ступай, а я за тебя парты доделаю! — сказал отец.

Никита надел шапку и сейчас же, не ожидая рассвета, отправился пешком в уезд. Он шел одну всю вторую половину ночи по пустым местам; полевой ветер бродил без порядка близ него, то касаясь лица, то задувая в спину, а иногда и вообще уходя на покой в тишину придорожного оврага. Земля по склонам и на высоких пашнях лежала темной, снег ушел с нее в низы, пахло молодой водой и ветхими травами, павшими с осени. Но осень уже забытое, давнее время, — земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать

все сначала и лишь те существа, которые никогда не жили. Никита даже не спешил идти к Любе; ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой беспмятной ранней земле, забывшей всех умерших на ней и не знающей, что она родит в тепле нового лета.

Под утро Никита подошел к дому Любы. Легкая изморозь легла на знакомую крышу и на кирпичный фундамент, — Любе наверно сладко спится сейчас в нагретой постели, и Никита прошел мимо ее дома, чтобы не будить невесту, не остужать ее тела из-за своего интереса.

К вечеру того же дня Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записались в уездном совете на брак, затем они пришли в комнату Любы и не знали, чем им заняться. Никите стало теперь совестно, что счастье полностью случилось с ним, что самый нужный для него человек на свете хочет жить заодно с его жизнью, словно в нем скрыто великое, драгоценное добро. Он взял руку Любы к себе и долго держал ее; он наслаждался теплотой ладони этой руки, он чувствовал через нее далекое биение любящего его сердца и думал о непонятной тайне: почему Люба улыбается ему и любит его неизвестно за что. Сам он чувствовал в точности, почему дорога для него Люба.

— Сначала давай покушаем! — сказала Люба и выбрала свою руку от Никиты.

Она приготовила сегодня кое-что: по окончании академии ей дали усиленное пособие в виде продуктов и денежных средств.

Никита со стеснением стал есть вкусную, разнообразную пищу у своей жены. Он не помнил, чтобы когда-нибудь его угощали почти задаром, ему

не приходилось посещать людей для своего удовольствия и еще вдобавок наедаться у них.

Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему: — Ну!

Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил: «Подождите, у меня сердце сильно заболело» — и Люба оставила мужа.

На дворе наступили сумерки и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: «Не надо, я ведь уже кончила учиться и сегодня наша свадьба». Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать.

Наутро Никита встал спозаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы скипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился: Люба теперь наверно велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде.

Люба проснулась и глядела на мужа.

— Не унывай, не стоит, — сказала она, улыбаясь. — У нас все с тобой наладится!

— Давай я пол вымою, — попросил Никита, — а то у нас грязно.

— Ну мой, — согласилась Люба.

«Как он жалок и слаб от любви ко мне! — ду-

мала Люба в кровати. — Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой!.. Я протерплю. А может — когда-нибудь он станет любить меня меньше, и тогда будет сильным человеком!»

Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люба смеялась над ним с постели.

— Вот я и замужня! — радовалась она сама с собой и вылезла в сорочке поверх одеяла.

Убравшись с комнатой, Никита заодно вытер влажной тряпкой всю мебель, затем разбавил холодную воду в ведре горячей и вынул из-под кровати таз, чтобы Люба умывалась над ним.

После чая Люба поцеловала мужа в лоб и пошла на работу в больницу, сказав, что часа в три она возвратится. Никита попробовал на лбу место поцелуя жены и остался один. Он сам не знал, почему он сегодня не пошел на работу, — ему казалось, что жить теперь ему стыдно и, может быть, совсем не нужно: зачем же тогда зарабатывать деньги на хлеб? Он решил кое-как дожить свой век, пока не исчахнет от стыда и тоски.

Обследовав общее семейное имущество в квартире, Никита нашел продукты и приготовил обед из одного блюда — кулеш с говядиной. А после такой работы лег вниз лицом на кровать и стал считать, сколько времени осталось до вскрытия рек, чтобы утопиться в Потудани.

— Обожду как тронется лед: недолго! — сказал он себе вслух для успокоения и задремал.

Люба принесла со службы подарок — две плоские зимних цветов; ее там поздравили с бракосочетанием врачи и сестры милосердия. А она держалась с ними важно и таинственно, как истин-

ная женщина. Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей, одна же искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы — правда или нет, что любовь это нечто чарующее, а замужество по любви — упоительное счастье? Люба ответила ей, что все это чистая правда, оттого и люди на свете живут.

Вечером муж и жена беседовали друг с другом. Люба говорила, что у них могут появиться дети и надо заранее об этом подумать. Никита обещал начать в мастерской делать сверхурочно детскую мебель: столик, стул и кроватку-качалку.

— Революция осталась навсегда, теперь рожать хорошо, — говорил Никита. — Дети несчастными уж никогда не будут!

— Тебе хорошо говорить, а мне ведь рожать придется! — обижалась Люба.

— Больно будет? — спрашивал Никита. — Лучше тогда не рожай, не мучайся...

— Нет, я вытерплю, пожалуй! — соглашалась Люба.

В сумерках она постелила постель, причем, чтоб не тесно было спать, она подгородила к кровати два стула для ног, а ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала, она услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом простыни, а утром, проснувшись, он не запомнил своей ночной печали.

С тех пор их общая жизнь пошла по своему времени. Люба лечила людей в больнице, а Никита делал крестьянскую мебель. В свободные часы и по воскресеньям он работал на дворе и по дому, хотя Люба его не просила об этом, — она

сама теперь точно не знала, чей этот дом. Раньше он принадлежал ее матери, потом его взяли в собственность государства, но государство забыло про дом — никто ни разу не приходил справляться в целости дома и не брал денег за квартиру. Никите это было все равно. Он достал через знакомых отца зеленой краски-медянки и выкрасил заново крышу и ставни, как только устоялась весенняя погода. С тем же прилежанием он постепенно починил обветшалый сарай на дворе, opravил ворота и забор и собирался рыть новый погреб, потому что старый обвалился.

Река Потудань уже тронулась. Никита ходил два раза на ее берег, смотрел на потекшие воды и решил не умирать, пока Люба еще терпит его, а когда перестанет терпеть, тогда он успеет скончаться — река не скоро замерзнет. Дворовые хозяйственные работы Никита делал обычно медленно, чтобы не сидеть в комнате и не надоедать напрасно Любе. А когда он отделялся начисто, то нагребал к себе в подол рубашки глину из старого погреба и шел с ней в квартиру. Там он садился на пол и лепил из глины фигурки людей и разные предметы, не имеющие подобия и значения, — просто мертвые вымыслы в виде горы с выросшей из нее головой животного или корневища дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать. Никита нечаянно, блаженно улыбался во время своей глиняной работы, а Люба сидела тут же, рядом с ним, на полу, зашивала белье, напевала песенки, что слышала когда-то, и между своим делом лас-

кала Никиту одною рукой, — то гладила его по голове, то щекотала подмышкой. Никита жил в эти часы со сжавшимся кротким сердцем и не знал, нужно ли ему еще что-либо более высшее и могучее, или жизнь на самом деле невелика, — такая, что уже есть у него сейчас. Но Люба смотрела на него утомленными глазами, полными терпеливой доброты, словно добро и счастье стали для нее тяжким трудом. Тогда Никита мямл свои игрушки, превращал их снова в глину и спрашивал у жены, не нужно ли затопить печку, чтобы согреть воду для чая, или сходить куда-нибудь по делу.

— Не нужно, — улыбалась Люба. — Я сама сделаю все...

И Никита понимал, что жизнь велика и, быть может, ему непосильна, что она не вся сосредоточена в его бьющемся сердце — она еще интересней, сильнее и дороже в другом, недоступном ему человеке. Он взял ведро и пошел за водой в городской колодец, где вода была чище, чем в уличных бассейнах. Никита ничем, никакой работой не мог утомить своё горе и боялся, как в детстве, приближающейся ночи. Набрав воды, Никита зашел с полным ведром к отцу и посидел у него в гостях.

— Что ж свадьбу-то не сыграли? — спросил отец. — Тайком, по-советски управились?..

— Сыграем еще, — пообещал сын. — Давай с тобой сделаем маленький стол со стулом и кровать-качалку, — ты поговори завтра с мастером, чтоб дали материал.. А то у нас дети наверно пойдут!

— Ну что ж, можно, — согласился отец. — Да ведь дети у вас скоро не должны быть: не пора еще...

Через неделю Никита поделал для себя всю нужную детскую мебель; он оставался каждый вечер свехурочно и тщательно трудился. А отец начисто отделал каждую вещь и покрасил ее.

Люба установила детскую утварь в особый уголок, убрала столик будущего ребенка двумя горшками цветов и положила на спинку стула новое вышитое полотенце. В благодарность за верность к ней и к ее неизвестным детям Люба обняла Никиту, она поцеловала его в горло, прильнула к груди и долго согревалась близ любящего человека, зная, что больше ничего сделать нельзя. А Никита, опустив руки, скрывая свое сердце, молча стоял перед нею, потому что не хотел казаться сильным, будучи беспомощным.

В ту ночь Никита выпался рано, проснувшись немного позже полуночи. Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе — половина первого, час, половина второго: три раза по одному удару. На небе, за окном, началось смутное прозябание — еще не рассвет, а только движение тьмы, медленное оголение пустого пространства, и все вещи в комнате и новая детская мебель тоже стали заметны, но после прожитой темной ночи они казались жалкими и утомленными, точно призывая к себе на помощь. Люба пошевелилась под одеялом и вздохнула; может быть, она тоже не спала. На всякий случай Никита замер и стал слушать. Однако больше Люба не шевелилась, она опять дышала ровно, и Никите нравилось, что Люба лежит около него живая, необходимая для его души и не помнящая во сне, что он, ее муж, существует. Лишь бы она была цела и счастлива, а Никите достаточно для жизни одного сознания про нее. Он задремал в покое,

утешаясь сном близкого милого человека, и снова открыл глаза.

Люба осторожно, почти неслышно плакала. Она покрылась с головой и там мучилась одна, сдавливая свое горе, чтобы оно умерло беззвучно. Никита повернулся лицом к Любе и увидел, как она, жалобно свернувшись под одеялом, часто дышала и угнеталась. Никита молчал. Не всякое горе можно утешить; есть горе, которое кончается лишь после истощения сердца, в долгом забвении или в рассеянности среди текущих житейских забот.

На рассвете Люба утихла. Никита обождал время, затем приподнял конец одеяла и посмотрел в лицо жены. Она покойно спала, теплая, смиренная, с осохшими слезами...

Никита встал, бесшумно оделся и ушел наружу. Слабое утро начиналось в мире, прохожий нищий шел с полной сумою посреди улицы. Никита отправился вослед этому человеку, чтобы иметь смысл идти куда-нибудь. Нищий вышел за город и направился по большаку в слободу Кантемировка, где покой века были большие базары и жил зажиточный народ; правда, там нищему человеку подавали всегда мало, кормиться как раз приходилось по дальним, бедняцким деревням, но зато в Кантемировке было праздно, интересно, можно пожить на базаре одним наблюдением множества людей, чтобы развлеклась на время душа.

В Кантемировку нищий и Никита пришли к полудню. На околице города нищий человек сел в канавку, открыл сумку и вместе с Никитой стал угощаться оттуда, а в городе они разошлись в разные стороны, потому что у нищего были свои соображения, у Никиты их не было. Никита при-

шел на базар, сел в тени за торговым закрытым рундуком и перестал думать о Любе, о заботах жизни и о самом себе.

Базарный сторож жил на базаре уже двадцать пять лет и все годы жирно питался со своей тучной, бездетной старухой. Ему всегда у купцов и в кооперативных магазинах давали мясные, некондиционные остатки и отходы, отпускали по себестоимости пошивочный материал, а также предметы по хозяйству, вроде ниток, мыла и прочего. Он уже и сам издавна торговал помаленьку пустой, бракованной тарой и наживал деньги в сберкассу. По должности ему полагалось выметать мусор со всего базара, смывать кровь с торговых полок в мясном ряду, убирать публичное отхожее место, а по ночам караулить торговые навесы и помещения. Но он только прохаживался ночью по базару в теплом тулупе, а черную работу поручал боснякам и нищим, которые ночевали на базаре; его жена почти всегда выливали остатки вчерашних мясных щей в помойное место, так что сторож всегда мог кормить какого-нибудь бедного человека за уборку отхожего места.

Жена постоянно наказывала ему — не заниматься черной работой, ведь у него уж борода седая вон какая отросла, — он теперь не сторож, а надзиратель.

Но разве бродягу, либо нищего приучишь к вечному труду на готовых харчах: он поработает однажды, поест, что дадут, и еще попросит, а потом пропадает обратно в уезд.

За последнее время уже несколько ночей подряд сторож прогонял с базара одного и того же

человека. Когда сторож толкал его, спящего, тот вставал и уходил, ничего не отвечая, а потом опять лежал или сидел где-нибудь за дальним рундуком. Однажды сторож всю ночь охотился за этим бесприютным человеком, в нем даже кровь заиграла от страсти замучить, победить чужое, утомленное существо... Раза два сторож бросал в него палкой и попадал по голове, но бродяга на рассвете все же скрылся от него, — наверно совсем ушел с базарной площади. А утром сторож нашел его опять — он спал на крышке выгребной ямы за отхожим местом, прямо снаружи. Сторож окликнул спящего, тот открыл глаза, но ничего не ответил, посмотрел и опять равнодушно задремал. Сторож подумал, что это — немой человек. Он ткнул наконечником палки в живот дремлющего и показал рукой, чтоб он шел за ним.

В своей казенной, опрятной квартире — из кухни и комнаты — сторож дал немому похлебать из горшка холодных щей с выжирками, а после харчей велел взять в сенях метлу, лопату, скребку, ведро с известью и прибрать начисто публичное место. Немой глядел на сторожа туманными глазами: наверно он был и глухой еще... Но нет, едва ли, — немой забрал в сенях весь нужный инструмент и материал, как сказал ему сторож, значит — он слышит.

Никита аккуратно сделал работу, и сторож явился потом проверить, как оно получилось; для начала вышло терпимо, поэтому сторож повел Никиту на коновязь и доверил ему собрать навоз и вывезти его на тачке.

Дома сторож-надзиратель приказал своей хозяйке, чтоб она теперь не выхлестывала в помойку остатки от ужина и обеда, а сливала бы их

в отдельную черепашку: пусть немой человек доедает.

— Небось и спать его в горнице класть прикажешь? — спросила хозяйка.

— Это ни к чему! — определил хозяин. — Ночевать он наружи будет: он ведь не глухой, пускай лежит и воров слушает, а услышит — мне прибежит скажет... Дай ему дерюжку, он найдет себе место и постелит..

На слободском базаре Никита прожил долгое время. Отвыкнув сначала говорить, он и думать, вспоминать и мучиться стал меньше. Лишь изредка ему ложился гнет на сердце, но он терпел его без размышления, и чувство горя в нем постепенно утомлялось и проходило. Он уже привык жить на базаре, а многолюдство народа, шум голосов, ежедневные события отвлекали его от памяти по самом себе и от своих интересов — пищи, отдыха, желанья увидеть отца. Работал Никита постоянно; даже ночью, когда Никита засыпал в пустом ящике среди умолкшего базара, к нему навывался сторож-надзиратель и приказывал ему подремывать и слушать, а не спать по-мертвому. «Мало ли что, — говорил сторож, — наемни вон жулики две доски от ларька оторвали, пуд меда без хлеба съели...» А на рассвете Никита уже работал, он спешил убрать базар до народа; днем тоже есть нельзя было, то надо навоз накладывать из кучи на коммунальную подводу, то рыть новую яму для помоев и нечистот, то разбирать старые ящики, которые сторож брал даром у торгующих и продавал затем в деревню отдельными досками, — либо еще находилась работа.

Среди лета Никиту взяли в тюрьму по подозрению в краже москательных товаров из базарного

филиала сельпо, но следствие оправдало его, потому что немой, сильно изнемогший человек был слишком равнодушен к обвинению. Следовательно не обнаружил в характере Никиты и в его скромной работе на базаре, как помощника сторожа, никаких признаков жадности к жизни и влечения к удовольствию или наслаждению, — он даже в тюрьме не поедал всей пищи. Следовательно понял, что этот человек не знает ценности личных и общественных вещей, а в обстоятельствах его дела не содержалось прямых улик. «Нечего пачкать тюрьму таким человеком!» — решил следователь.

Никита просидел в тюрьме всего пять суток, а оттуда снова явился на базар. Сторож-надзиратель уморился без него работать, поэтому обрадовался, когда немой опять показался у базарных рундуков. Старик позвал его в квартиру и дал Никите покушать свежих горячих щей, нарушив этим порядок и бережливость в своем хозяйстве. «Один раз поест — не разорит! — успокоил себя старый сторож-хозяин. — А дальше опять на вчерашнюю холодную еду перейдет, когда что останется!»

— Ступай мусор отгреби в бакалейном ряду, — указал сторож Никите, когда тот поел хозяйские щи.

Никита отправился на привычное дело. Он слабо теперь чувствовал самого себя и думал немного, что лишь нечаянно появлялось в его мысли. К осени, вероятно, он вовсе забудет, что он такое, и видя вокруг действие мира, — не станет больше иметь о нем представления; пусть всем людям кажется, что этот человек живет себе на свете, а на самом деле он будет только находить-

ся здесь и существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии, как в домашнем тепле, как в укрытии от смертного горя...

Вскоре после тюрьмы, уже на отдании лета, — когда ночи стали длиннее, — Никита, как нужно по правилу, хотел вечером запереть дверь в отхожее место, но оттуда послышался голос:

— погоди, малый, замыкать!.. Иль и отсюда добро воруют?

Никита обождал человека. Из помещения вышел отец с пустым мешком подмышкой.

— Здравствуй, Никит! — сказал сначала отец и вдруг жалобно заплакал, стесняясь слез и не утирая их ничем, чтоб не считать их существующими. — Мы думали, ты покойник давно... Значит, ты цел?

Никита обнял похудевшего, поникшего отца, — в нем тронулось сейчас сердце, отвыкшее от чувства.

Потом они пошли на пустой базар и приютились в проходе меж двух рундуков.

— А я за крупной сюда пришел, тут она дешевле, — объяснил отец. — Да вот, видишь, опоздал, базар уж разошелся... Ну, теперь переночую, а завтра куплю и отправлюсь... А ты тут что?

Никита захотел ответить отцу, однако у него ссохлось горло и он забыл как нужно говорить. Тогда он раскашлялся и прошептал:

— Я ничего. А Люба жива?

— В реке утопилась, — сказал отец. — Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили, стали отхаживать, — она и в больнице лежала: поправилась.

— А теперь жива? — тихо спросил Никита.

— Да пока еще не умерла, — произнес отец. — У нее кровь горлом часто идет: наверно, когда

утопала, то простудилась. Она время плохое выбрала, — тут как-то погода испортилась, вода была холодная...

Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться.

— А у тебя есть место? — спросил отец. — А то ложись на мешок, а я буду на земле, я не простужусь, я старый...

— А отчего Люба утопилась? — прошептал Никита.

— У тебя горло, что ль, болит? — спросил отец. — Пройдет!.. По тебе она сильно убивалась и скучала, вот отчего... Цельный месяц по реке Потудани, по берегу, взад-вперед за сто верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо...

Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой.

— Ты ночуй, отец, один, — сказал Никита. — Я пойду на Любу погляжу.

— Ступай, — согласился отец. — Сейчас итти хорошо, прохладно. А я завтра приду, тогда поговорим...

Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном, легком воздухе по темным полям.

Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зеленой краской, — сейчас ставни казались синими от темной ночи. Он прильнул лицом к окон-

ному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель, сделанную им с отцом, — она была цела. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила, она не подошла к окну, чтобы узнать его.

Никита перелез через калитку, вошел в сени, затем в комнату, — двери были не заперты: кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров.

На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись с головой.

— Люба! — тихо позвал ее Никита.

— Что? — спросила Люба из-под одеяла.

Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни или считала стук в окно и голос Никиты сном.

Никита сел с краю на кровать.

— Люба, это я пришел! — сказал Никита.

Люба откинула одеяло со своего лица.

— Иди скорей ко мне! — попросила она своим прежним, нежным голосом и протянула руки Никите.

Люба боялась, что все это сейчас исчезнет; она схватила Никиту за руки и потянула его к себе.

Никита обнял Любу с тою силою, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души; но он скоро опомнился, и ему стало стыдно.

— Тебе не больно? — спросил Никита.

— Нет! Я не чувствую, — ответила Люба.

Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой

более высшей радости, чем знал ее обыкновенно, — он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением.

Люба попросила Никиту — может быть, он затопит печку, ведь на дворе еще долго будет темно. Пусть огонь светит в комнате, все равно спать она больше не хочет, она станет ожидать рассвета и глядеть на Никиту.

Но в сених больше не оказалось дров. Поэтому Никита оторвал на дворе от сарая две доски, поколот их на части и на щепки и растопил железную печь. Когда огонь прогрелся, Никита отворил печную дверцу, чтобы свет выходил наружу. Люба сошла с кровати и села на полу против Никиты, где было светло.

— Тебе ничего сейчас, не жалко со мною жить? — спросила она.

— Нет, мне ничего, — ответил Никита. — Я уже привык быть счастливым с тобой.

— Растопи печку посильней, а то я продрогла, — попросила Люба.

Она была сейчас в одной заношенной, ночной рубашке, и похудевшее тело ее озябло в прохладном сумраке позднего времени.

БЕССМЕРТИЕ

РАССКАЗ¹

После полуночи на подходе к станции Красный Перегон закричал и заплакал паровоз ФД. Он пел в зимней тьме глубокой силою своего горячего живота и затем переходил на нежное, плачущее, человеческое дыхание, обращаясь к кому-то безответственному. Умолкнув на краткое время, ФД опять пожаловался в воздух, причем в его сигнале уже можно было разобрать человеческие слова, и тот, кто слышал их сейчас, должен почувствовать давление своей совести, потому что машина мучилась, — на материнском крюке ее тендера висел беспомощный тяжеловесный состав, а на входном светофоре был сделан красный сигнал. Механик закрыл последнюю отсечку пара, — сигнал светил устойчиво, — и дал три гудка остановки. Он достал красный платок и вытер лицо, которое ночной зимний ветер все время покрывал слезами из глаз. Зрение человека начало слабеть, сердце стало чувствительным: машинист пожил на свете, по-

¹ В этом рассказе нет фактов, хотя бы в малой мере не соответствующих действительности, и нет фактов, копирующих действительность.

ездил по земле. Он не выругался в тьму на станционных дураков, хотя ему предстояло брать с подъема в упор две тысячи тонн и бандаж паровозных колес будут выбирать своим трением огонь из замерзших рельсов.

— Жалко будить Эммануила Семеновича, но придется, — прошептал механик самому себе.

Будка машины содрогалась от мелкой вибрации. Помощник форсировал топку, держа давление в котле доотказа. Клапан баланса то рычал в воздух паром, то переставал, когда через инжектор приходилось осаживать давление.

— Но придется! — сказал машинист и взял в руки поводок сирены.

Машина опять закричала, запела, заплакала в темную ночь зимы, грозя и жалуясь.

В перерывах между своими сигналами машинист слышал, как где-то в дальнем колхозе забрежали собаки, которых, вероятно, беспокоил паровоз, а в Перегоне запели петухи станционных служащих.

Теперь в пространстве звучал целый хор голосов: паровоза, петухов и собак...

В одном пристанционном доме, в девичьей комнате, проснулась молодая женщина. Она прислушалась к голосу знакомого паровоза: она знала все машины перегонского депо по отдельности, как людей с разным характером. Она была домашней работницей начальника станции, и транспорт касался ее интересов.

— Либо тормоза захватило, — заговорила кухарка для себя, — либо другое сказилось что, а бис автоматчик спит!.. Ну что ж это такое: ну не мученье, ну не разложение это делается, — все сердце болит от гадюк!..

Она босая подошла к закрытой спальне Эммануила Семеновича, чтобы сказать ему о паровозе, который кричит с Перегона. Но в комнату она не вошла: она услышала, что ее хозяин уже говорит по телефону с диспетчером.

— Это ты, Мищенко?.. Чего вы четыреста третий держите на входе?..

Мищенко что-то говорил оттуда в телефон. Кухарка стояла за дверью спальни начальника станции.

— Хорошо, принимайте скорее! — сказал Эммануил Семенович. — Утром я найду виноватого... Отчего я не сплю? Нет, я сплю, но мне снится, что у вас происходит. Обожди минуту! Послушай горку!..

Кухарка Галя тоже прислушалась. С другого направления, — не там, где кричал поездной ФД, — слышались теперь жалобные гудки второго паровоза.

— Слышишь? — спросил в телефон начальник. — Скомандуй на горку, чтоб тормоза отдали: горочный паровоз не может осадить состава!

Эммануил Семенович положил трубку. Паровозы перестали кричать. Галя пошла от двери обратно к себе и легла в постель. В парке отправления нормально и негромко посвистывал маневровый паровоз. Она слышала, как катились вагоны по морозным рельсам и затем с силою бились дисками буферов о другие вагоны.

— Кто там хулиганит на маневрах? — опять закричал в телефон хозяин из своей спальни. — Почему вагоны на башмак не принимают?.. Где транзитный состав из нулевого парка, отчего я его не слышу? Ему ведь время быть!

Он умолк; ему отвечали по обратной связи.

— Проверьте и позвоните! — сказал Эммануил Семенович. — Если там будет так тихо, я все равно уснуть не могу... Что? Нет, я дремать буду. Пусть паровозы свистят, тогда я засну. До свиданья!

Галина вздохнула на своей постели:

«Ну, не демоны, не чертячьи это остатки!.. Скажусь-ка я Лазарю Моисеевичу про такую жизнь — напишу ему открытку: нехай негодный народ попеняет, чтоб спать хозяину в сутки давали...»

Большое тело Галины болело по транспорту, потому что все люди на станции Красный Перегон, которые были ей симпатичны, тоже тратили свое сердце на железную дорогу. Сперва, когда Галина узнала такую жизнь, она решила: «Меня нисколько то не касается, откуда люди беду себе в душу пускают, — я пешком буду жить, а грузную тяжесть за плечами унесу. Мне что паровоз, что вагон, ничто ни к чему, — я ведь женщина, девка такая!»

Однако Гале вскоре же нечем стало жить: ни для сердца, ни для симпатии, ни для думы не находилось никакого применения, поскольку она хотела существовать пешей в одиночку, а еду носить в котомке за спиной. И тогда, склонившись в силу жизни к людям, она стала разделять их участь и тревогу, а пешей жить хоть и могла, но не хотела: не стало интереса.

Она долго не спала, согреваясь собственным теплом под одеялом от работы своего мощного сердца.

«Ух, ветряка-враг сейчас дует в степи по пу-

тям! — думала она. — Люди говорят, от холода рельсы пополам трескаются... Не то нынче треснут, не то нет! Пускай бы уж нет, а то погрузки не будет, Эммануил Семенович опять похудеет... Завтра надо ему сметаны купить. Чего-то это колхозники возить ее мало стали. Сами лопают, зажиточные черти... Ишь, морды какие в степях живут! — Галя вспомнила лица знакомых колхозников. — Обрадовались теперь, а раньше, бывало, такие личности казали: одна худоба да чуждость, — мы селянство! Так бы и вдарила теперь каждого врозь за прежнее. Класс на класс хотели! Я тебе дам класс! Вон он, класс, — Галя сделала слабое движение туловищем в сторону комнаты начальника станции, — он спит и слышит...»

Сама Галя тоже была колхозница — господарка, однако сердце ее не лежало к одному лишь родному и милому колхозу; это для нее представляло мало радости, масштаб мал.

Она уснула. Телефон молчал над постелью ее хозяина; хозяин тоже спал, и тело его, привыкшее к краткому отдыху, поскорее, поспешно набиралось сил, — сердце обмерло в глубине груди, дыхание сократилось, поддерживая лишь дежурное тление жизни, каждый мускул и каждая жила втайне потягивались, борясь с уродством, с морщинами дневного напряжения. Но во тьме ума, обильно орошаемого кровью, светилась одна дрожащая точка. Она блестела сквозь сумрак полуприкрытых веками глаз, точно горел светильник на удаленном мосту, на входной стрелке главного пути из действительности, и этот кроткий огонь каждое мгновение мог превратиться в обширное сияние всего сознания и пустить сердце на полный ход.

Наутро Галина взяла котомку начальника станции и пошла на базар. Сколько раз она хотела выбросить эту ветхую, старинную котомку, неудобную, сшитую давно, в старинные года, из кусков юфти и украинского полотна; не однажды Галина латала эту сумку-котомку, и все же она была дурна. Раньше с такими котомками ходили дальние нищие, но и те перестали. Однако Эммануил Семенович любил эту котомку: он с ней прожил в мире всю свою жизнь, исходил и проезжал по земле сто тысяч километров или больше, она была его единственным имуществом в детстве, в юности и в зрелом возрасте — на родине в Черкассах, в уссурийской тайге, под Москвою и здесь в Перегоне. Он странствовал с этой котомкой, и она нигде не полнела от богатства, только окружающее государство добрело от товаров, от многолюдства, от движения тучных поездов. Кажется, что из этой котомки, из рук человека, который ее носит, выходит добро, но сама котомка всегда была пустой.

Вернувшись с базара, Галина уже не застала хозяина, зато около двери закрытой квартиры она встретила составителя поездов Полуторного, который пришел к начальнику станции посоветоваться, где достать петуха для его плимутрокских кур. Галя велела ему пропасть с ее глаз.

— До свиданья, — сказал Полуторный. — Пойду сейчас в кабинет к товарищу Левину Эммануилу Семеновичу. Скажу ему, чтоб хамок у себя не держал, а то персонал оскорбляют, настроенье кадров портят...

— Ступай, заплачь! — заговорила Галя. — Привыкли, чтоб государство — советская власть танцевала перед вами... Я вам не она!

— А кто ж ты, раз ты не она? — спросил Полуторный. — Контр, что ль?

— Он! — согласилась Галя.

В кабинет Левина Полуторный попал не сразу, — там шло диспетчерское совещание. Потом Эммануил Семенович сам вышел к Полуторному. Составитель сказал ему, что он не знает, как быть, и круглые сутки тоскует: у кур его нету подходящего, достойного петуха; куры те особые, несутся круглый год и теперь мечутся, кричат без петуха, а некоторые уж летать приучились — высоко поднимаются в воздух, как форменные птицы, и от туда кудахчут. Сумасшествие природы!

Левин молча глядел в лицо Полуторного: чем только не живет на свете человек, даже курами и петухами может питаться его душа, и в птичьем надворном хозяйстве его сердце находит себе утешение!

— Понимаю, — тихо сказал Левин. — Я знаю одного куровода в Изюме, он мой знакомый... Сейчас напишу тебе записку к нему — в выходной съездишь. Если у него плимутроков нет, тогда он тебе скажет, где их достать. У него есть друзья среди куриных специалистов. Я все это ему напишу...

Говоря, Левин склонился к столу и уже писал.

Полуторный ушел. Он был доволен: пускай его баба-жена займется курами, а им перестанет заниматься. Была бы одна его воля, он давно бы жарил всех кур на закуску к наливке.. Но жизнь его шла косо: приходилось одними и теми же руками сцеплять большегрузные вагоны и щупать кур, мелкую бабью тварь. Полуторный решил и об этом поговорить как-нибудь с товарищем Левиным, пока его душа окончательно не испорти-

лась от жены и не пропала кадровая ценность. Эх, жизнь, когда ты организуешься, чтоб уж не чуять тебя!

Левин попробовал бумаги на своем столе — отношения, рапорты, сведения, ведомости, на седьмом пути свалили вагон, контрольный пост все еще держит поезда... Самому нельзя сделать работу тысячи человек. Его система предварительных извещений о прибывающих поездах дает пока слабую пользу. Всякая система работы — лишь игра одинокого ума, если она не прогревается энергией сердца всех работников. Здесь, в Перегоне, ему тоже придется проникать внутрь каждого человека, мучить и трогать его душу, чтоб из нее выросло растение, цветущее для всех.

Левин робко улыбался; он был один. Со стыдом и нежностью он думал о своих близких людях, помощниках по работе. Ему давно стало ясно, что транспорт в сущности простое, нетрудное дело, но отчего же он требует иногда не обыкновенного, естественного труда, а страдальческого напряжения?.. Мертвый или враждебный человек — вот трудность! Поэтому нужно постоянно, непрерывно согреть другого человека своим дыханием, держать его близко, чтоб он не мертвел, чтоб он чувствовал свою необходимость и хотя бы от стыда и совести возвращал полученное извне тепло помощи и утешения в виде честной жизни и работы... Но пока не у всех людей душа обращена вперед — в работу и в будущее. У многих она гнездится далеко в тылу, на домашнем дворе, где ходят куры, хозяйствует жена, стареет утварь, изнашивается одежда, зачинаются дети и ютится ветхая нужда, от которой до костей про-

зывает всякий человек и тайно плачет слезами себе внутрь, в кровь своего тела.

Пришел конторщик. Он начал говорить что-то начальнику про сведения за истекшие сутки. Левин в истекшие сутки тоже жил и поэтому знал про них все. По своей привычке он больше слушал паузы речи, в которые каждый человек неощутимо, почти бессознательно борется с внезапным наступлением личных, интимных, потрясающих сил и сокрушает их, думая, что они не относятся к делу.

— Хорошо, Петр Иванович, — сказал Левин. — Что еще?

— Эммануил Семенович... Разрешите мне дежурить по ночам.

— А что? — спросил Левин.

— Так, — ответил конторщик. Его красивое молодое лицо слегка смутилось, но сила скромности и самолюбия возвратила ему спокойствие.

— Напомните мне об этом к концу дня, — сказал Левин.

Конторщик ушел. Левин взял трубку и позвонил домой.

— Галя, ты знаешь нашего конторщика?

Она, конечно, знала его. Все, что ее прямо не касалось, она знала тем более подробно.

— Сходи к нему сейчас домой, займи что-нибудь для хозяйства, попроси веник, поговори с его женой... Ступай, хохлушка, — после мне позвонишь.

Левин встал. Ему пора быть на путях. В кабинет вошел незнакомый пожилой человек в старой шинели железнодорожного кондуктора, сшитой лет двадцать тому назад.

— Здравия желаю, начальник!

— Здравствуй! Что скажешь?

— Да насчет работы пришел. Тут у вас порядок, вы человек умный, хочу теперь в ногу итти...

— В колхозе был? — спросил Левин.

— Да то где же... О, господи!

— Почему уходишь оттуда?

— Хозяева дюже умные пошли... У нас там самая тьма командует, кто раньше плетни чужие чинил, а теперь кричит — плановость, основа начала, научность, а сами все сено вчистую в палаток в гной пустили — вымокло. Мы косили его, а оно в прах пошло... По нашей местности, выходит, и солнце зря горит: оно траву воспитывает, а мы ее в гной морим!

Левин слушал, потом спросил:

— Значит, у тебя в колхозе сено преет, а ты только вздыхаешь ходишь...

— Зачем нам вздыхать, у нас душа болела...

— Болела! — сказал Левин и стал смотреть на этого человека в упор. — Зря она болела, по-дурачки, по-кулачки она у тебя болела! Ты в стороне стоял, ты ухмылялся, ты думал: а пускай все хряснет в одну ночь к чертовой матери!..

— Тьма замучила, — тихо ответил посетитель.

— Но ведь ты-то все понимал! — произнес Левин. — У тебя тоже, значит, тьма в голове...

— Зачем тьма?.. У меня мысль.

— Мысль! Чего ж она не работала, раз сено пропало? Тьма у нас — ошибка, а не закон, а если твоя мысль там ничего не сделала, то и у нас она не нужна... Ступай домой, я затворяю кабинет. Ты работать на станции не будешь...

Левин пошел в обход станции. У перрона находился пассажирский поезд. Люди ехали на север — на Харьков, Москву, Ленинград. В Москве рабо-

тал Каганович, жила жена начальника станции. В сумраке вагонного скна стояла незнакомая женщина. Она скучно глядела на чужой для нее вокзал, на неинтересных людей, тоже живущих себе здесь в своих надеждах и заботах, и желала, наверно, чтобы поезд поскорее тронулся отсюда, и она тогда бесследно забудет людей, оставшихся на станции, даже названия не вспомнит никогда и не задумается над теми, кто живет в дальних дымящих избушках, которые видны с идущего поезда на степном горизонте.

Начальник станции скромно улыбнулся своей нечаянной мысли. Он подумал, что эта женщина — дура, если так размышляет, но тут же возразил себе: значит, нужно, чтобы она сошла с поезда и осталась работать в Перегоне.

— Да! — резко вслух сказал Левин и засмеялся.

Он вспомнил другую женщину, молодую, одаренную талантом жить чужим чувством, прекрасную, несчастную артистку. Она исчезла где-то без славы, без имени, нищая, гордая и кроткая, никогда не подумав больше о нем, не умея, наверно, чувствовать то, что находится далеко, что давно бесполезно для ее быстро живущего, впечатлительного сердца. Она права: судьба необратима, и у начальника станции есть уже вторая любимая жена, есть девочка — дочь, с которой он выйдет под руку в свет, в счастье, в настоящую жизнь, когда дочь вырастет в девушку.

Левин рассеянно остановился; потом он пошел обратно, к пассажирскому составу. Женщина, смотревшая в окно из вагона, теперь вышла наружу. Она стояла около тамбура в синем костюме, покрывши голову кашемировой южной шалью. Глаза ее удивленно, а не равнодушно разгляды-

вали незнакомую станцию, служащих, весь местный странный мир. Ей было лет двадцать. Свежее сосредоточенное лицо ее смотрело напряженно, одинаково готовое и к улыбке и к печали. Проходя мимо нее, начальник станции поднес руку к козырьку фуражки, и женщина слегка поклонилась ему в ответ.

Одиноким человек, Левин редко видел в лицо тех дальних людей, для которых он работал. «Такой скоро будет моя дочь, — решил Левин про себя, — даже лучше, счастливей... А начальники станций будут не такие, как я: они будут спать по ночам, ездить в отпуск в путешествия, жить в семье с женою среди родных детей».

На путях Левина догнала Галя.

— Эммануил Семенович... У конторщика жена на шпало-заводе работает, а ребенок за дверью кричит, а дверь закрыта... Ведь это что за жизнь: ну, прямо — ничто!..

— За какой дверью? — спросил Левин.

— А в комнате ж, в ихней ж хатке... Дитя одно целый день живет, отец же с матерью на работе! Как же так можно, Эммануил Семенович! Их пора организовать...

— Ступай возьми у конторщика ключ от его хатки, — сказал Левин, — и посиди с ребенком, пока отец с работы не придет. Сейчас его некем сменить...

— А обед кто вам сготовит? А кушать чего будете? — воскликнула Галя.

— Не буду кушать, — ответил начальник. — Буду жить натошак...

Галя уперлась руками в бока и подивилась:

— Моя матушка!.. Он кушать не будет! На Украине чтоб не ели! А дирекция увидит, а товарищ Левченко опять приедет, а с Москвы кто покажется, да как узнают, да как скажут: а где твоя кухарка, гадюка, отчего ты постный такой? А ну пускай кухарка за то дело в лес поедет десять лет на тыщу человек борщ варить!.. Так добрее ж будет взять того мальчика в одеяло с собой на квартиру, обед приготовить и с ним поцацкаться...

Левин ушел в парк формирования поездов, затем на горку и на контрольный пост. Ночью замозали, выбили из графика четыре поезда. На маневрах не сокращаются мелкие аварии и несчастные случаи с людьми. Но Левин понимал, что маленькие происшествия — это большие катастрофы, лишь случайно умершие в младенчестве.

Начальник обосновался в будке стрелочника и вызвал к себе ночного командира по отпращиванию, который еще бродил по путям, не уходя почему-то домой.

— Товарищ Пирогов, — произнес Левин. — Раньше ты говорил — тебе негде жить. Мы тебе дали квартиру. Ты утомился — я тебе наладил путевку на курорт. Тебе нехватало зарплаты — мы тебе добавили, стали выплачивать премии, компенсации... Дома ты скучаешь, пьешь водку, на дежурстве смазываешь поезда, вагоны у тебя режут стрелки... Что с тобой, товарищ Пирогов? У тебя горе тайное есть?

— Нет никакого горя, начальник...

— Больше у меня нет добра для тебя, я тоже бедный человек, может, беднее, несчастнее тебя! — воскликнул Левин, упустив на мгновение свою волю. — Я сам буду дежурить за тебя сегодня в ночь. Ты не приходи, ты опомнись, отдохни, а

завтра сходишь в партком. Я попрошу, чтоб у тебя отобрали партийный билет...

Пирогов стоял молча перед Левиным, опухший от ночного ветра, печальный, смутный человек.

— Ступай домой, — сказал Левин.

Пирогов не уходил.

— Калечьте уж до конца, начальник.

Он отвернулся, слезы нечаянно, сами по себе, побежали по его лицу теплыми ручьями. Пирогов их не ожидал, он сразу вышел наружу и пошел против ветра, чтоб воздух высушил ему лицо вместо матери.

В будку пришли составители и сцепщики. Левин сказал им, чтоб они говорили только о мелких подробностях работы, — главную беду он знает сам.

Составитель Захарченко стал доказывать, что аварии — ерундовое дело, их быть никогда не может.

— А когда у тебя хоппер сошел на стрелке, отчего это было? — спросил Левин.

— У меня был понос от обиды, товарищ начальник, — сказал Захарченко. — Меня рвать вчерашней едой начало от совести...

Но отчего сошел хоппер, он не знал.

— От жадности у тебя сошел хоппер, — объяснил за него Левин. — Ты дремлешь на работе, опоздал посигналить на пост — и стрелку тебе перевели под самым вагоном... Ты жаден, Захарченко. Ты живешь за десять километров отсюда и дома с женой горшки делаешь на продажу. Сменишься, приедешь, сразу садишься за гончарный круг. Постышь потом немного, опять за горшки садишься и кроешь до самого нового дежурства,

потом сюда едешь.. Сюда ты приезжаешь уже усталый, почти больной. Тебе спать надо, а ты за поезда берешься.. Сколько ты с женой выгоняешь рублей из горшков?

— Да рублей шестьсот, боле никак не выходит, — кротко ответил Захарченко.

— Врешь, больше зарабатываешь, — сказал Левин. — Но этого мало на двоих. Я тебя научу, как можно зарабатывать больше. Горшки нам нужны, горшков нехватает на Украине. Ты зайди ко мне после смены, я тебе составлю график: когда тебе спать нужно, когда горшки тачать, когда сюда ехать. Ты будешь приезжать к нам свежим и происшествий у тебя не станет, а горшков успеешь сделать больше. Понял?

— Да давно бы так пора, Эммануил Семенович, — согласился Захарченко. — Горшок тоже серьезная вещь..

— Как жена твоя, — ты ведь женился недавно, — угождает твоему старику?

— Да она ничего, она умильная.. Может, потом застервеет..

— Не застервеет: воспитаем,отрегулируем. Ты ее сам не испортишь..

— Я ничего, я с ней живу осторожно, товарищ начальник..

— Гляди! — сказал Левин. — Живи ты хоть дома без аварий, раз здесь не можешь работать хорошо.

Захарченко вышел из будки в совести и в расстройстве. Он подошел к стрелочному сигналу, сел на тяговую штангу и увидел в стекле фонаря отражение своего лица.

«Эх, ты, жлоб московский, жадный чорт! —

сказал он в стекло.— Блинцы только любишь глотать... Вагон раз повредил, теперь и родной бабы тебе не доверяют. А все горшки, дьяволы, глиняные...»

Через час Левин был на горке и принимал участие в расформировании с центрального поста прибывших составов. Он записал себе в книжку, что не ладило в техническом оборудовании. Каждый день проявлялись какие-либо неполадки: то замедлители пассивали иногда, то башмаки срабатывались, то в централизации что-нибудь болело. Может быть, это глаз заострился и видел теперь невидимое раньше, а может быть, технику нельзя было ни на минуту отнимать от груди и внимания человека. На всякий случай Левин полностью не верил ни технике, ни людям, инстинктивно любя то и другое.

На обратном пути в контору Левина догнал Полуторный.

— Эммануил Семенович, хочу вам слово сказать.

— Давай, товарищ Полуторный.

— Жена мне давеча ватрушку на пост приносила... Хочет французский язык учить, — учитель в Перегоне явился...

— Пускай учится, — сказал Левин.

— Нельзя, Эммануил Семенович, это ведь блажь организуется тогда. Плимутроков уже теперь ей не надо, петуха тоже долой... Хочу, говорит, один французский язык, это культурность. А до плимутроков она наборному делу училась, но бросила, — вредно, говорит, и цвет лица портится от свинца. Потом, стало быть, шофером хотела быть, агрономию учила, цветы воспитывала,

но в сущности только с железнодорожным пролетариатом, дружил посредством личного знакомства, взаимной помощи в работе и симпатии. Без личной связи с людьми Левин не понимал отношения к рабочему классу: чувство не может быть теоретическим. Но чувство приобретает силу и смысл лишь в общем действии друзей и товарищей, в бедствии и счастье трудного труда.

Левин вернулся с работы домой. Тьма слабела на небе. Человек, не сняв шинели, стал у окна в своей комнате и прислушался к шуму удаляющихся тяжелых поездов, убегающих в рассвет. Сегодня Левин сам решил ночной график, выбросил все поезда со станции, принял на сортировку прибытие и приготовил под отправление на утро новые составы.

Последний маршрут утихал вдали; лишь слышно было, как паровоз во весь клапан на большом форсе брал подъем. Левин открыл форточку, чтоб дольше, яснее слышать работу поезда. Не в пирушках с друзьями, не в полуночных спорах и даже не в тепле домашнего благоустроенного счастья находил он удовлетворение и наслаждение. Он мог уснуть за беседой об истине жизни и мгновенно проснуться от тревожного гудка паровоза. Он отводил от себя руки жены и друзей, чтоб уйти в полночь на станцию, если чувствовал там горе и беспокойство. В вагонах лежали товары — плоть, душа и труд миллионов людей, живущих за горизонтом. Он чувствовал их больше, чем пару друзей, чем любовь к женщине. Любовь должна быть первой службой и помощью для его заботы о всех незнакомых, но близких людях, живущих за дальними концами рельсовых путей из Перегона. Он любил и воображал всех удален-

ных, откуда прибывают и куда уходят тяжкие поезда. Наслаждение же одним любимым существом само по себе ничто, если оно не служит делу ощущения и понимания тех многих существ, которые скрыты за единственным человеком...

Спать уже поздно было... Левин сам погладил и поласкал руками свое тело, зашедшееся от усталости. Но в нем еще много томилось цельной, чистой силы, и странно было желание скорее растратить эту силу, истомить себя в труде и заботе, чтобы уже другое, незнакомое, лучшее, счастливое сердце воспользовалось результатом расточенной, беспощадной к себе жизни, а сам Левин, казалось ему, не смог бы никогда жить полноценно. Он себя считал временным, преходящим существом, которое быстро минует в историческом времени, и больше не будет таких встревоженных, неинтересных, озадаченных вагонами и паровозами людей, и, может, хорошо, что их не будет.

Левин с тоскою стал гладить дерево на поверхности стола; ему захотелось разбудить Галю и поговорить с ней, как с сестрой, может быть, пожаловаться ей или кому-нибудь еще, любому человеку, если б явился человек.

Но Левин молчал всю жизнь, когда ему было больно, и первая боль до сих пор не прошла. Может быть, именно тогда — в детстве — его душа была потрясена настолько, что начала разрушаться и заранее почувствовала свою далекую смерть. Он всегда мог представить себе с точностью тот детский, все же милый день прекрасной, бедной жизни. Он сидел в школе рядом с русским мальчиком Володей. Вошел отец Давид, начался урок по закону божьему. Священник спросил Володю. Мальчик неловко встал за партой и нечаянно, не-

брежно оперся на нее. Отец Давид посмотрел молча на Володю, потом сказал: «Посидел вот рядом с жидом, а теперь держать себя не умеешь... Надо вас рассадить». Весь класс, все ученики молча посмотрели на маленького Эммануила, и Эммануил заметил улыбку, удовлетворение, удовольствие на лицах своих товарищей. Эммануил робко приоткрыл рот, чтоб свободнее было дышать от муки и сердцебиения, и весь урок глядел в парту, где чей-то ножик вырезал два слова: «Хочу домой». Сам отец Давид был крещеный еврей.

Левин ушел обратно на станцию; иногда ему не хотелось быть одному. От вокзала к нему навстречу бежал без шапки сторож и уже издали открывал рот, чтобы кричать что-то начальнику станции. Левин побежал ему навстречу.

— Скорей, Эммануил Семенович: вас там буква Ц из Москвы по телефону спрашивает. Вся контора испугалась... Транзитный на север задержали — дежурный думает, может, поладобится что везти: кто ее знает...

— Скажи, чтоб сейчас же выбросили поезд! — закричал Левин. — Кто задержал отправление?

— Товарищ Едвак, — ответил сторож, — кто ж, как не он.

В аппаратной комнате присутствовало уже человек двадцать, которым не было терпенья от интереса. Левин велел уйти всем, закрыл дверь и взял трубку.

— Я ДС Красный Перегон. Слушаю.

— А я Каганович. Здравствуйте, товарищ Левин. Вы почему так скоро подошли к аппарату, когда вы успели одеться? Вы что, не спали?

— Нет, Лазарь Моисеевич, я только пошел спать.

— Пошли только! Люди ложатся спать вечером, а не утром... Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя на Перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы опите, но не делайте из меня вашу няньку...

Далекий, густой и добрый голос умолк на время. Левин стрял безмолвный; он давно любил своего московского собеседника, но никогда никаким образом не мог высказать ему свое чувство непосредственно: все способы были бестактны и неделикатны.

— В Москве сейчас тоже, наверно, ночь, Лазарь Моисеевич, — тихо произнес Левин. — Там тоже не с утра люди спать ложатся.

Каганович понял и засмеялся.

— Выдумали что-нибудь нового, товарищ Левин?

— Здесь людей заново приходится выдумывать, Лазарь Моисеевич...

— Самое трудное, самое нужное, — говорил дальний, ясный голос.

Слышен был тонкий, стонущий гул электрического усиления, напоминая обоим собеседникам о долгом пространстве, о ветре, морозах и метелях, об их общей заботе.

Левин сообщил, как работает станция. Нарком спросил, чем ему надо помочь.

Левин не знал вначале, что сказать.

— Вы уже помогли мне, Лазарь Моисеевич. Я теперь передумаю сам себя заново.

Пауза. Опять стала слышна работа усиления: печальный, скулящий звук электромагнитного воз-

буждения, преодолевающего огромную выпуклость земли. Оба человека молча слушали это мучение энергии, дрожащей сквозь расстояние.

— Меня зима тревожит, товарищ Левин, — медленно сказал Каганович, — она еще долго будет идти...

Левин вздрогнул. Интонация раздумья, человечности, тревога истинной героической души была в этих словах, сказанных точно про себя.

Левин выждал время и ответил:

— Ничего, Лазарь Моисеевич... Мы будем работать, зима пройдет...

Молчание. Левин хотел еще многое сказать, но волнение изменило ему голос, он боролся с тайным стыдом взрослого, счастливого человека.

— Не утешайте, Левин, самого себя! — произнес нарком. — Зиму надо пережить, вырасти за нее, а не привыкать к мысли, что она, мол, пройдет. Человек не должен привыкать даже к самому себе, иначе он помирится со всем миром, а он еще плох... Пишите мне письма или вызывайте к аппарату. Ложитесь спать, будьте здоровы!

Левин отошел от аппарата и попробовал свои ребра под шинелью. Он пожалел, что в его теле не так много добра, чтоб можно было прожить еще новый век без сна.

Один помощник имел лицо заклятого врага турецкого султана. Это был Ефим Едвак, редкий человек на свете. Он сделать мог все, но без крайней нужды не предпринимал ничего. Лишь непосредственная угроза смерти заставляла его совершать жизнь и движение. Главным всеобщим злом Едвак считал простое обстоятельство: люди ра-

ботаю сегодня то, что полагается делать не ранее завтрашнего дня. Отсюда все и пошло крутиться и мучиться. Поэтому сам Едвак начинал творить всякое дело лишь в последнюю минуту, но делал его хорошо и кончал во-время. Левин давал ему часто тяжелые поручения с кратким сроком. Но Едваку достаточно было только понять, и тогда он сделает любое мероприятие, сам же он не придумывал и не мудрил ничего. В свободное домашнее время Едвак играл на балалайке, пил настойку, звал девиц и плясал с ними, пока не приходил от веселья в отчаяние. Человек большого, но неподвижного ума, он жил, как старинный бурлак, мог работать, как артист, мог до гроба ничего не делать. Женщины, сколько их не было, долго его не терпели. Наверно, у Едвака душа была такой просторной емкости, что там ни одна женщина не сумела построить семейного гнезда, чувствуя себя, как воробей в пустой цистерне.

— Бушуешь? — спросил однажды Левин у Едвака.

— Живу, — ответил Едвак.

Раньше Едвак работал на большом харьковском заводе. Левин хотел с ним посоветоваться: нельзя ли позаимствовать что-либо от заводов для улучшения работы станции. Ведь заводы давно уже пользуются опытом работы железных дорог. Например, конвейер, диспетчерская связь, сигнализация.

— Можно, — сказал Едвак, — только ни к чему. У нас командиры привыкли скопом, народом брать. Где одного нужно, они троих держат. У нас привыкли не думать, а терпеть...

— А разве ты думаешь? Ты тоже на работе молчишь, а дома пляшешь...

— Я думать не берусь, я не тот человек, а пляшу я от горя, от безобразия на этом пункте своей жизни — в Красном, бордовом Перегоне...

Лицо Едвака покрылось бурым цветом от внезапно возбуждвшегося сознания: давно он так ничего не сознавал; даже усы его затвердели и приподнялись, будто построенные из рыбьих костей.

— Нарком сказал, что привычка нас губит. Человек должен уметь отвыкать и жить заново...

— Слышал,—сказал Едвак.—Он нарком, а я нет.

— Ты нет,—произнес Левин.—Ты вчера два поезда задержал на десять минут, два вагона перекидывал — пять сцепщиков нагнал. Тебе бы надо моим дедом быть: тот три телеги нанимал, когда нужна была одна. Первая не приедет, у второй шкворень согнется, а уж третья как-нибудь явится...

Едвак осовел от обиды.

— Ты мне, начальник, давай потяжелее дела, по слабым я слаб... Перекидка — пустая вещь, там дежурный был, а я этюд другого порядка.

— Значит, вы двое там командовали, — людям работать мешали...

Левин поручил Едваку обдумать, как перевести некоторые работы станции на заводской способ. Едвак, не собиравшийся думать вовек, задумался тут же. Он привлек все свои воспоминания о заводах, о гаражах, о колхозах, даже о женщинах, и целиком озадачился проблемой. Левин остался доволен. Бурлачество, дикость, проживание впустую своего ума и сердца — это лишь общественный форс, искаженная маска талантливой и гор-

дой, когда-то обиженной натуры. Втайне Едвак серьезный человек, и ему достаточно будет дать дело по плечу и по самолюбию, чтобы он выздоровел.

Вечером Левин лежал дома, уткнувшись головой в подушку, но одетый. Иногда у него сильно болела голова, сердце билось больно и близко, словно о кости скелета. Однако это состояние скоро проходило, нужно лишь молча перетерпеть его. Ночью, отдохнув немного, Левин опять ушел на станцию. Ничего опасного там сейчас не было, но Левину дома стало скучно; он верил, что проходящему, временному человеку жить самому с собой нечем. Настоящие будущие люди, может быть, уже родились, но он к ним себя не относил. Ему нужно было круглые сутки отвлекаться от себя, чтобы понять других: ущемлять и приспособливать свою душу ради приближения к другой, всегда замороженной, закутанной человеческой душе, чтобы изнутри настроить ее на простой труд движения вагонов. Чтобы слышать все голоса, нужно самому почти онеметь.

Левин, согнувшись, шел по путям в дальний парк прибытия. «Нельзя ли систему предварительной информации начинать в месте формирования поездов?» — подумал он и улыбнулся. Как странно — он привык страстно размышлять лишь о своей работе. Какой он скучный человек! Разве может с ним интересно жить какой-нибудь другой человек? Едва ли!.. Сколько еще осталось жизни? Ну, лет двадцать, нет — меньше, надо прожить скорее; ведь неудобно будет в светлом мире, в блестящем обществе существовать такой архаической фигуре: оборот вагона, снижение нормы простоя, коммерческая скорость, график...

«Нет! — вслух засмеялся одинокий начальник станции. — Таких чертей там не будет: вымрут! Или останутся где-нибудь на пенсии сидеть на за-валинке и будут рассказывать, как слепые деды...»

Левин вспомнил детей, когда они слушают слепого старика. Они не понимают его слов и не придают им значения. Они смотрят на его глаза, на ветхое лицо, их интересуется лишь, что он старый, слепой, а не умирает: они бы на его месте умерли.

В полночь начальник вернулся домой. Галя уже спала. «Надо ее подучить и отправить рабстать на горку! — решил Левин. — Что ее держать — зачем тратить ее жизнь на услуги для одного человека? Безобразная вещь!»

Он лег в постель, стараясь скорее крепко уснуть, — не для наслаждения покоем, — а для завтрашнего дня. Он долго еще слышал работу парков прибытия и отправления, нулевой парк, транзит, горку, маневры... Сигналы паровозов были нормальны, на выхода выбрасывались поезда, поездные паровозы пели на удаление, — Левин забывался; свет его покрасневших от бессонницы глаз угасал во внутренней тьме беспомыслия.

Через час зазвонил телефон.

— Собаки! — проснувшись в своей комнате, сказала Галя.

Левин открыл налившиеся кровью глаза. Шинель и вся одежда висели у него на спинке кровати. На всякий случай он сразу взял рукой за шинель, чтобы надеть ее прямо на белье, если понадобится, и проверил взглядом, где стоят сапоги.

— Я! — сказал он в трубку.

— Ничего, начальник, это я — Едвак. Из Мо-

сквы спрашивали по селектору: как ваше здоровье, спите вы или нет. Как будто вы великий, бессмертный человек!.. Я сказал—Левин спит спозаранку, чтоб они больше не шумели из Москвы.

— Ты ж меня разбудил теперь!

— Неважно: крепче заснешь, — сказал Едвак.

Левин посидел немного на кровати, потом оделся и ушел на станцию. Ему пришло соображение относительно увеличения нормы нагрузки вагона, и он хотел сейчас поговорить с вагонниками. Запас прочности в осевой шейке достаточно велик, можно добавить нагрузку.

ТРЕТИЙ СЫН

РАССКАЗ

В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: «мать умерла приезжай отец».

Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу, — может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой.

И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание; даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.

После отправления телеграмм старый отец вернулся домой; он сел на табуретку около длинного стола — у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой

жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке, иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе, — то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, нетеплое как звезда, — и старик ждал сыновей.

Первый старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные пять сыновей собрались в течение двух следующих суток.

Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, шестилетней девочкой, никогда не выдавшей своего деда.

Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, — пока не умерла.

Громадные мужчины — в возрасте от двадцати до сорока лет — безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было шесть человек, седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой, незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами.

Сыновья молча плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех, а теперь с тайным

волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками — командирами кораблей, один — московским артистом, один — у кого была дочка — физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро, и седьмой отец, бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда — через тысячи верст — находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильнее от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала как равнодушная чужая старуха.

Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, — весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание.

Умирая, старуха наказала мужу-старика, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома, а уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыно-

вей и чтоб они могли итти за ее гробом. Старуха не столько верила в бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв, при свете восковых свечей над ее посмертным лицом; она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец, привел под вечер одного человека, — тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадило на цепочке. Он быстро усталил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и с ходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, шел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился, — это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении.

Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командир-

скую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, прѣбрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверь. В сущности же он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений, — для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, — но ему не дали оттуда ответа.

Вечером отец постелил шесть постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где сорок лет спала покойная старуха. Кровать стяла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала, одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой.

Старик постоял над ней в ночном сумраке; выпавший снег на улице собирал скудный рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: «Отдыхай теперь». Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет — там

опять зажгли электричество и оттуда раздавался смех и шумный разговор.

Девочка от шума начала ворочаться, может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла — от страха перед ночью и мертвой старухой.

Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровые, во-время отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья-моряки рассказывали случаи в иностранных портах и затем хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями «голова», «ноги», чтобы стелить одеяло правильно и грязным, потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили все вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданию. Уже много лет они не съезжались все вместе и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул, тогда они на минуту притихли, но вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса: он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал, что ему трудно начать ни с того, ни с сего, ни под слово. «Ну, закройте меня чем-ни-

будь» — попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтоб не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали — так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала:

— Дедушка! А дедушка! Ты спишь?

— Нет, я не сплю, я ничего, — сказал старик и робко покашлял.

Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу: оно было мокрое.

— Ты что плачешь? — шопотом спросил старик.

— Мне бабушку жалко, — сказала внучка. — Все живут, смеются, а она одна умерла.

Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно, она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила:

— А почему ты тоже плачешь? Я перестала.

Дед погладил ей головку и шопотом ответил:

— Так... Я не плачу, у меня пот идет.

Девочка сидела на кровати около изголовья старика.

— Ты по старухе скучаешь? — говорила она. — Лучше не плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать.

— Я не буду, — тихо отвечал старик.

В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то ска-

зал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука: он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать.

Вскоре оттуда открылась дверь и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому.

Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания.

Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука, — закричала только его дочь.

Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если бы она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее

своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго.

Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед; он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.

Ф Р О

РАССКАЗ

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание; провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящичку и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящичка, оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город: по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания.

Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно, — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света; за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства, она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек придет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые, глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью, — она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества, или еще для чего-то, жена его точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная что это такое,

согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжело бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колodka или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды перекачал! Открой кран, стержень! Продуй!», «Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?», «Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя — машина или баня?» При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал маши-

нисту принять меры против его небрежного помощника: «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.

В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вождения. Но недавно, когда устаревший механик по обычаю орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать...

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут, либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несатым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь

лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.

Фрося вынула горшок из духового шкапа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа: позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще мало знакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы, вместо игрушки, и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам; женщины, домашние хозяйки уводили их ко двору, — долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои короткие мирные звуки — о том, что все благополучно, и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси — не пойдет ли она в

клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет, — сказала Фрося, — я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик. — Он явится: пройдет один год, и он тут будет... Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду, твоя покойница-мать и то скучала: мешчанка была!

— А я вот не мешчанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося. — Нет, наверно, я тоже мешчанка...

Отец успокоил ее:

— Ну, какая ты мешчанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мешчанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были..

— Папа, ступай в свою комнату, — сказала Фрося. — Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна...

— Ужинать сейчас пора! — согласился отец. — А! то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто, либо запьянствовал, или в семействе драма-шутка, мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, — зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает, — все как полагается!..

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь;

она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.

— Но, на дермо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах ель, что за ель! ну что за шишечки на ней!» — «Ту-ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-пыр: ледакол... Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори ту-ту, ру-ру, шевелися каждый гроб, больше пластики, культуры, производство наша цель!..»

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась, ради радости, вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека, — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд.

и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете, — спросила она его, — что курьерский поезд номер второй — он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?..

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, — сказал уборщик. — Сейчас поездов не ожидается: идите в вокзал, гражданка... Постоянно тут публичность разная находится, лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти...

Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина, нарядчик или бригадир.

— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси. — Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется... Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась

— Давай лопату! — сказала она.

— На тебе мою, — ответил бригадир и подал женщине инструмент. — Бабы! — сказал он прочим женщинам. — Ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой...

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — подругами и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения.

Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдышаться и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает

шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним любовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одёжу они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрoся сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

— Уехал — не умер, назад возвратится! — утешительно сообщила Фрoсе ее рабочая подруга.— А я там, в аресте, заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала... Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница — важный человек. А я такая же, я доступная... А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку: «Пойдем, — говорит, — я тебя фруктовой водой угощу». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, баласт где подбивают, рельсы меняют, либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда,

поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюродную встретила... Ну, давай платформу кончать: в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю... Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси. — Много там осталось?

— Не, — ответила тамошня Фрося. — Тут малость, поскребыши одни...

— Лезай сюда, — велела ей жена берданочного сторожа. — Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Вокруг них с шумом набирались сил паровозы — для дальнего пути, или наоборот — остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.

Пришел нарядчик.

— Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну валите в контору, я сейчас приду. А там, — деньги получите, — там видно будет: кто в клуб танцовать, кто домой — детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались: Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы похожие на слово «Ева»: с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова, либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справились со своими делами,

немного попудрились, улыкнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке, и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, — она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом добежали до клуба. Прогрешел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса Рио-Рита помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом; она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

— Только недавно кончился, почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

— Ах, как жалко! — сказала Фрося.

— Вам здесь нравится? — спросил кавалер.

— Ну конечно, — да! — отвечала Фрося. — Здесь так прекрасно.

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла

в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили сидро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

— Фрось, а Фрось! — прошептала она. — Что ж при социализме-то все комнаты такие будут, ай нет?

— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося. — Ну, может, немножко только лучше.

— Это бы ничего! — согласилась Наталия Букова.

После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот «Мой бэби», диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо. — Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

— Фро! — ответила Фрося.

— Фро?.. Вы не русская?

— Ну конечно нет!

Диспетчер размышлял.

— Почему же нет?.. Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Неважно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели.

Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины, ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги, — там, где растут у него мужественные волосы.

— Вы плачете? — испугался диспетчер.

— Немножко, — прошептала Фро. — Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна миловидная женщина, и Наташа хотела проверить — нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии.

На другой день утром Фрося получила теле-

грамму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».

Отца не было дома. Он ушел в депо: посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармонии; потом музыка утихла, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, — и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье, — скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желанья. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к учению, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается, — во многом она жила подражением своему мужу, человеку, окончившему

два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.

Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и, больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там — микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно». Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может

чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор может, — и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в южный советский Китай и стать там солдатом...

На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: «Мать стирает белье, отец на работе, нескоро придет, скучно, скучно одному».

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно, он так предполагал.

— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он

слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.

— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец. — Я живо.

Дочь отказалась.

— Ну, колбаски поджарю!

— Нет! — сказала Фрося.

Отец не надолго умолкал; потом опять спрашивал, но более робко:

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею...

Дочь молчала.

— А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил...

— Да отстань ты, наконец! — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали...

— Просился, не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец.

Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтоб она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он. — Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегая в аптеку...

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородой с макаронами.

В дверь постучали. Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки ви-

сели грязные, он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одежду, ране недели не обернешься...

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок; там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный, висячий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две. Дали паровоз серии «Ща»: он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, — и закрыла дверь квартиры.

«Играй! Отчего ты не играешь?» — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой. Но он отправился, наверно, гулять, — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал изо всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой из всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос; он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося приюхалась к подушке, на которой спал Федор, — она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать, он ведь рано встает, — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья: старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит; он думает: обойдемся так.

Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним роцам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, — шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила; к подру-

гам и знакомым она итти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми, — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад — казенное место, — сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

— Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь! — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принялась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла, — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон уне-

сет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вестн, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведа я холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесаря попутных станций не сняли с машины деталей; где продают дешевые ягоды, а где их весной морозом побило. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец. — Как же я ее зачал от жены, — не помню!»

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносецем. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок, — Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям и

внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темносинее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: «За девяносто два рубля в месяц работаете?» — «Да, — говорила Фрося, — это с вычетами». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. — «Подумаю» — ответила Фрося. — «А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит под редакцией редколлегии, там люди умные, — вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка, это что — одиночка, антиобщественница какая-то!»

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою част-

ную текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.

Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо.

После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слышала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чая, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаз в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо: он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не

миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

— Папа!

— Ты что, дочка? — старик спал слабо и чутко.

— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

— А вдруг — я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.

— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить... Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.

— Не буду, — обещал старик. — А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

— Тебя не касается, что я писала... У тебя деньги есть?

У отца деньги были; он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму: «Мало ли что, — решил он, — может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть».

Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».

«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?

— Стало быть, так, — объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дома.

Через двое суток пришел ответ молнией: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор».

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, забыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу.

— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, — тебе ведь скучно все время дома сидеть...

— Скучно — согласился старик. — Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя! С приездом.

— Спасибо, Нефед Степанович...

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала, — говорила Фрося. — Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умираешь, — отвечал муж. — Я верил твоей телеграмме недолго...

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился, — грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру...

Федор поцеловал ее сбоку в лицо.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь и меня, — сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность, — улыбнулся Федор; он любил ее высокие, ученые слова. Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «кто сказал «а», должен говорить «б», «камень, положенный во главу угла», «если это так, а это именно так» — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы «а» обязательно говорить «б», а если не надо и я не хочу?»

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверно, на-

значили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты, — о передаче силовой энергии без проводов посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, — и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались, — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторе-

нию жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека... Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дома не надолго и закупала продовольствие для себя и мужа, у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили, не разлучаясь, уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шопотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно... Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор на следующий день.

— Скоро, скоро, — отвечала дремлющая, крот-

кая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно, Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапку на кухонный стол. Фрося разбудила его.

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик. — Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто, — сказал отец, — она была открыта... Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале, что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.

— А что! Я там привык, — говорил отец. — Я думал — мешать вам буду...

— Ну, уж ладно, ханжа! А где Федор, когда он явится?..

Отец затруднился.

— Он не явится, — сказал старик, — он уехал...

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на

Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китае проберусь — неизвестно.

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего, — ответил отец. — Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю, — произнес старик. — Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь!

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

— Мальчик! — позвала она. — Иди ко мне в гости.

— Сейчас, — ответил гармонист.

Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

— Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

ГЛИНЯНЫЙ ДОМ В УЕЗДНОМ САДУ

В уездном саду была деревянная кузница. Вокруг нее росли лопухи и крапива, далее стояли яблоневые и вишневые деревья, а между ними произрастали кусты крыжовника и черной смородины и выше всех был клен, большое и грустное дерево, давно живущее над местным бурьяном и всеми растениями окрестных дворов и садов. Сад был огорожен плетнем со всех сторон, лишь в одном месте была деревянная калитка, навешанная на толстый кол; эта калитка выводила на пустой двор, а на дворе находился бедный дом из кухни и комнаты, где жил кондуктор товарного поезда с женой и семерыми детьми. А в задней стороне сада, где были заросшие дебри сонной травы, стояла глиняная стена глухого и еще более мелкого жилища, чем то, в котором жил кондуктор. К этой стене с обеих сторон подходили садовые плетни и вместе с густой травой точно хранили этот неизвестный глино-соломенный дом, где была или не была чья-то убогая, слабая жизнь.

Посредине глиняной стены того дома находилось окно, маленькое, как дремлющее зрение, — окно выходило прямо в этот сад, в тишину его трав и деревьев, в безлюдие долгого медленного времени.

Другие стены глиняного дома и дверь из него были за плетнем, на той стороне, и там тоже была трава, несколько умолкших, дремучих кустов и запустение забытого огорода. Не видно было жителей, которые входили бы в это жилище, хлопали дверью, жили и зажигали свет в окне в осенние вечера.

Деревянная кузница стояла на другом краю сада. В ней работал и неотлучно жил пожилой одинокий кузнец Яков Саввич Еркин. Ему было теперь почти пятьдесят лет, он прожил длинную жизнь, почти непригодную для себя. Когда-то он работал лесным сторожем и проклял лес. Уходя навсегда из казенной избышки, он обернулся к дубовой чаше и сказал ей:

— Проклинаю тебя навеки веков, грудь моя забудет все твои деревья, грибы и тропинки. Голова моя не увидит тебя и во сне никогда!

Он перекрестил шумящую дубраву крестом прощания и презрения и пошел от нее в пустошь, опять неимуший и свободный. В одной слободе Яков Саввич устроился для прокормления на краскотерочную фабрику, где работали четыре девки, два мальчика и один он. Потерев краску недели три, Яков Саввич плюнул в терочную машинку и произнес:

— Будь ты трижды проклята — трись сама, — а потом ушел в дверь по своему обычаю и больше не вернулся.

На улице он внимательно осмотрел краскотерочное помещение, чувствуя душевное счастье, что больше его никогда не увидит и поэтому можно даже печально полюбить его на память.

Затем Яков Саввич рыл траншеи для водопроводных труб в губернском городе, пока ему вско-

ре же, дня через три — не стало ясно, что для такой работы совсем не нужно быть человеком: мечта в его голове и настроение в сердце оставались без применения, работали только лишь одни скучные руки, и ноги держали тело в упор, как истуканы. Яков Саввич сразу расправился с этой своей новой судьбой, — он получил сдельный расчет и отдал лопату подрядчику, а земле сказал: «Лежи — дождайся, как буду мертвым, так явлюсь к тебе!»

Потом Еркин, ввиду холодной зимы, поступил бассейщиком. Он стал жить в водоразборной будке с печкой и отпускал теперь водовозам и базарным мужикам воду за мелкие деньги. Это было нетрудно, лишь бы питаться, а жизнь как-нибудь проживется. Но в бассейнной будке окно было четверть аршина в квадрате, — никого не видно, всегда скучно и только суют гроши и алтыны в казенную щель под рамой замороженного окошка. Это мало радости, и поэтому Яков Саввич вышел однажды в зимний вечер наружу и посмотрелся на длинную очередь пустых деревенских саней. Базарный день окончился, деревенские люди уезжали домой — в натопленные избы, спрятанные среди снегов за десять — двадцать верст отсюда, в речных долинах, в заглохших балках и пустошах; они приедут туда поздно, поедят ужин с овинным хлебом и лягут спать, слушая первых петухов. Долгая синеющая улица города выходила в поле, в первые сумерки русской ночи. Небо еще с осени покрылось темной теплой наволочью и осталось таким неподвижно, больше не было ни звезд, ни молний. Брехали собаки у сней мелких домовладельцев и звонил колокол церкви в память праздника какого-то небольшо-

го святого, жители шли в баню или возвращались оттуда, застывшие дети бедняков проводили детство у своих дворов, играя тем, что упало с неба или с проезжих возов.

Последние сани безыменного старика скрылись с тоскою в темном месте пространства. Сильная, грустная мечта о безвозвратном бродяжничестве стала томиться в душе Якова Саввича. Он сосчитал дневную выручку за продажу воды, которую должен отнести в городскую кассу. Ее оказалось всего шесть рублей сорок две с половиной копейки.

— Э, да будь ты все проклято! — сказал Яков Саввич. — Пойду жить по своей мысли.

Он взял пиджак в будке, потушил лампу и скрылся вслед за уехавшими мужиками.

Верстах в сорока от города, в деревне Таволжанке, Якову Саввичу понравилась одна милая, молодая женщина, вдовица пропавшего шахтера. Он поселился в избе ее родителей, а потом постепенно женился на ней, приучив ее к себе до того, что она полюбила его. В этом ничего особого не было: ведь женщине некуда деваться, кругом равнодушное поле, в избе скудость и неуправка, у каждого своя забота, и человек ходит, молчит, — поэтому многие не выдерживают, их сердце располагается к кому-нибудь, и двое людей начинают жить, прижавшись в жалобе друг к другу, отчуждаясь от всех чужих. С таким же чувством предалась Якову Саввичу шахтерская вдовица, ища своего убежища в его доброте.

Яков же Саввич, обратно, боялся всякого убежища, точно сухой могилы. Тогда он сказал ей:

— Ну, поплачь теперь, слабая, года два обо мне, а я пойду, откуда пришел...

Дальше Яков Саввич пошел работать по уезду на богатых мужиков, служил обтирщиком вагонов на товарной станции, резаком в мясной лавке — и всюду, сгибаясь в труде, ел плохо, а на одежду нехватало ничего, хотя пользы от работы приносилось много. Догадавшись про убыточность полезного труда, Яков Саввич занялся сбором подаяния в кружку на построение храма Николая-чудотворца, а все кружечные деньги оставлял себе на пищу и в запас на худшее время и стал жить спокойно и хорошо. Он ходил среди природы по губернии, беседовал и размышлял с разными жителями и замечал, что его ненужное дело было гораздо более доходным, чем полезное занятие трудом. Мало того, люди, жертвовавшие копейку в расщелину кружки, делали это с интересом удовольствия, хотя сами знали, что это безвозвратный расход и бог им едва ли поможет. А когда Яков Саввич продавал воду в бассейной будке и приходили разные жаждущие с ведрами, то они уносили воду со скукой, хотя в воде была насущная необходимость, а церковная кружка это пустая жестянка.

Накопив сто рублей, Яков Саввич пошел в уездный город и купил себе ларь с товаром для торговли игрушками, ложным золотом и украшениями женского лица. Он уже знал теперь, что ненужные вещи ценятся дороже и покупаются охотнее, чем необходимые. Торговля, стало быть, будет безубыточной. Однако торговать ему пришлось всего месяц времени, потому что его арестовали и присудили сидеть в тюрьме три года

семь месяцев — за хищение медных церковных денег. В тюрьме Яков Саввич узнал еще много мер борьбы с безуспешной жизнью и, выйдя от туда, поступил к двум купцам делать самые точные весы. Эти два купца, торговавшие алебастром, известью и дранью, были компаньонами в деле, но заспорили однажды среди лета — чья жена лучше и тяжелее. Своим весам они не верили, а у чужих весов хозяева были жулики. Здесь им назвался Яков Саввич, что он сделает весы, которые будут вешать, чья жена лучше, легче и тяжелее. Купцы вначале хотели разойтись без последствий и без убытков от такого дела: ну, пускай у одного жена будет толще, а у другого зато лучше на вид — так на так выйдет, без особых весов. Но один купец стал думать по-другому.

— Опять Евсей поехал без вожжей! — сказал он в раздражении. — Товар сорт любит, а не одну тяжесть. Пускай человек делает, раз называется: на баб не годятся, на известку пойдут..

— Твою бабу свесить не задача, — сказал другой купец; — ни спереди, ни сзади нету добра. А на мою царь-пуд еще надо лить.

— У моей кость тверже, она — баба — захватистой твоей.

— Опять тебе вот — захватистой! Купи себе клещи в железном ряду и живи с ними.

— Свесим — и дело с концом! — предложил Яков Саввич.

— Ни туда, ни сюда выйдет, а по совести. Из-за женщин можно до смерти дойти: лучше весы сделать, все равно потом для известки нужны будут.

— После моей бабы пожалуй весы пополам треснут! — сказал купец, у которого жена, наверно, была толще.

— А ну, — нехай пополам! — обиделся второй купец. — Что тяжелше — старое сало или молодая кость: нехай моя баба давнет, поглядим, как твоя кверху подскочит!..

Тот купец вынул пять рублей одной монетой и бросил на землю:

— А ну, пускай глянем, как моя баба — пирог кверху от твоей пышки полетит!

Второй купец тоже не пожалел денег, ради сердечной ревности за свою супругу, и вынул ассигнацию.

— Врешь, другой человек, красоту лопухом не одолеешь.

— Да моя твою одним газом сшибет!

— А ты что, с перины на пол падал?

Но торговое дело любит, чтобы в нем было хорошее сердце, а не злоба, поэтому купцы, жалея свой мир между собою, заказали Якову Саввичу весы, чувствующие женщин.

Яков Саввич снял себе по летнему времени квартиру у товарного кондуктора — в сарае, в уездном саду. Он взял в лавках инструмент и стал ковать ненужное дело, желая на нем наживаться. Весы ему пришлось делать и переделывать целый год, потому что он никак не мог угодить купцам — все время нехватало точности для тяжести их жен. Затем Яков Саввич перестал спешить с работой, переполучив постепенно с купцов почти двести рублей, пока купцы, поругавшись навечно и по женам и по другим серьезным делам, не разошлись навсегда, обеднев от злости

Яков Саввич к тому времени завел уже себе в сарае зимнюю печку, обмобилировался, купил добавочный инструмент, заквасил капусту в кадке, но никакой обыкновенной кузнечной работы не брал и ничего не думал, а ждал, когда ему попадется что-нибудь бесполезное и загадочное, но тем более необходимое человеческой душе и, стало быть, самое доходное. Но всю наступившую зиму не было подходящих заказов, поэтому Яков Саввич начал по своему почину делать железные жалейки и питьевые кружки с откидным дном, что мешало их употреблять, но становилось как-то интересно черпать ими воду. Свои изделия Яков Саввич продавал на базаре, где встретил однажды одного из двух обедневших купцов, желавших в свое время сделать весы для определения своих жен. Этот купец стал напрашиваться в подручные к Якову Саввичу, но тот велел ему сначала найти заказчика на работу. Вскоре купец пришел к Якову Саввичу и указал ему сходить к попу в кафедральный собор, там есть заказ. Действительно, попы собирались сделать подношение архиерею, которому исполнялось через полгода сто лет, но нужно было что-то выдумать прелестное и простое. Яков Саввич тут же выдумал часы вечного хода, идущие без завода и остановки вплоть до конца света и второго пришествия.

Попу понравилась такая мечта, однако он высказал сомнение: не лучше ли будет, чтобы часы не шли, а стояли, потому что нижняя, земная жизнь есть остановочное томление, а за сутки до небесного суда тронулись бы сами и пошли, считая истинный божий срок.

— Тоже можно! — сразу согласился Яков Сав-

вич и взял в задаток сто двадцать рублей, уговорившись сделать всю работу за полтысячи.

Пока Яков Саввич понемногу трудился, у хозяина двора — кондуктора — постоянно рождались дети, и он обращался в нищего, тоскующего человека. Яков Саввич часто кормил его детей мочёнками из хлебной тюри, потому что его сердце скучало от одной жадности и своего житейского удовольствия и требовало для отдыха небольшой доброты. Потом Яков Саввич сделал попам чугунные часы, которые должны в конце обычного времени пойти в ход от удара молнии, и тогда купил у кондуктора всю его усальбу за двести рублей, а кондуктор с семейством остался жить, как жил — в кухне и комнате, но только квартирантом — за пять рублей в месяц.

С тех пор Яков Саввич не проклинал надоевшего места своей жизни, а грелся на солнце около собственной кузницы, следил, чтобы все было цело, чтоб росла даже ненужная трава в саду и втайне подружился с инвентарем своего двора — с плетнями, с деревьями, досками и гвоздями на них, с закоулками строений, — и беседовал с ними в душе, любя их теперь неразлучной любовью, как царство своего сердца и мировое пристанище. И бедные, дремлющие предметы тоже шептали что-то в ответ Якову Саввичу своими спекшимися от молчания грустными устами, так что хозяин тем более не мог оставить их одних в сиротстве, на печальное пребывание. Он теперь не искал случая делать лишь странные механизмы, утоляющие вожделение темной души, а работал все, что ему давали, — ведра, формы для пирогов, железные скобки, петли для навески деревянных ворот и прочее. Яков Саввич соглашался

нынче и на малое добро, чувствуя от него достаточное утешение. Проклиная некогда всеобщие леса, он полюбил сейчас кусты и былинки в своем нажитом саду; волнуясь когда-то от ветра на бродяжьих дорогах, он прислушивался теперь к шевелению хвороста в собственных плетнях, а ветер не любил, как всякую непогоду.

Жизнь проходила перед ним своею мирной долгою; дети товарного кондуктора выросли и стали воровать крыжовник с кустов, деревянная кузница заиндевела от ветхости мелким древесным мхом, старый клен в саду уже несколько лет держал свои нижние ветви без листьев, сухими от старчества — наверно, он родился в то давнее время, когда здесь было еще чистое поле, и прожил век сиротою, в далекой стороне от могучих отцовских лесов.

В летние ночи Яков Саввич любил обходить двор и сад по загаженному краю, по темной крапиве и глядеть, как спит его добро и никуда не двигается. На небе звезды хотя и шли куда-то, но медленно, а на другую ночь опять были на своих местах. Затем Яков Саввич спал и видел сновидения старости, что он молод и мил лицом, кругом растет бушующий от ветра бурьян и голос давно погибшей, грустной матери звучит в воздухе над ним, и он смеется. В кузнице пахнет сажей и железом, за деревянной стеной тьма и редкий пугающий шелест травяных стеблей, а старик спит один на топчане, открыв рот в слабости своего счастья — видеть во сне мертвую мать, минувшую природу и свою забытую душу.

Но ум его, как сторож-старичок, спал слабо: в одну ночь он расслышал, что скрипит плетень под тяжестью человека, и разбудил Якова Саввича

чувством беспокойства. Хозяин проснулся и стал слушать приближающееся бедствие. Кто-то шел по мяготи трав и почвы небольшими шагами, иногда останавливаясь в страхе чужого места и замирая. Яков Саввич стал бояться и ждать. Он слышал, как неизвестное существо удалилось куда-то от кузницы и затем оттуда раздался робкий стук в оконное стекло, — что было в глиняной стене маленького дома, выходявшего этой стороною в сад. Яков Саввич сам не знал, кто жил в том жилище, он там никогда не замечал ни звука, ни вечернего огня, ни дыма. Но стекло зимой и летом было наглухо замазано, значит никто в сад не вылезал, и этого достаточно. После молчания снова кто-то постучал в далекое окно и смирно смолк в ожидании ответа.

«Может, это ангел ходит ночью! — подумал Яков Саввич. — Сколько сейчас времени? — Он потрогал руками стрелки стенных сельских часов и узнал, что было час ночи. — Ангелу ходить пора! — решил он в уме. — Либо мне проклясть все и скрыться отсюда без поворота!.. Чего я здесь живу — умираю: странность одна!»

Он прислушался далее. Ангел попрежнему постукивал в окно, но все более редко и без ответа.

«Застынет! — подумал Яков Саввич и встал с места. — Зори теперь холодные».

Он вышел наружу и позвал: — «Эй, чертенок, иди сюда!» — однако звука из его рта не раздалось, — от стеснения или от страха он говорил только в уме.

«Вот тебе раз! — подумал Яков Саввич. — Все вера в бога, будь она проклята!.. По ягодным кустам, наверно, лез сукин сын, изуродовал теперь растения».

Окно из глиняного дома отворилось целиком, вместе с рамой, и оттуда выставилось в сумрачный сад чье-то не похожее на человека лицо.

— Я все давно слышу! Чего тебе надо? — сказал скучный голос старухи, дыша словами не наружу, а внутрь, в свою пустую узкую утробу.

— А ты мама или нет? — спросил голос маленького ребенка, уставшего, должно быть, ходить по темной ночи.

— Я тебе чужая — ответила старуха и вставила оконную раму обратно в проем стены.

Ребенок постоял немного, погладил глиняную стену рукой и пошел к кузнице, ступая по крапиве привычными ногами.

— Ты чей? — спросил его Яков Саввич.

— Я ничей, я отца-мать хожу ищу, — сказал мальчик лет четырех или пяти на вид.

— А я думал ты — ангел, стервец!

— Нет, я никто, — отказался мальчик.

— Жулик, что ль?

— Нет... Меня тетка загрызла, я хлеба много ем и портки протираю. Она ругается, — ступай, говорит, вон отсюда, ищи свою родную мать и отца, пускай они тебя кормят и водою поят. А я хожу-хожу, спрашиваю и говорю, никто их не знает.

— Кого? — спросил Яков Саввич.

— Ни отца, ни матери. А меня тетка за них по морде костяной рукою бьет.

— Вон что, — произнес среди своего молчания кузнец. — Жалко, что ты не ангел.

— Ничего, — сказал этот мальчик.

— А отец-то с матерью твои живут где-нибудь?

— Никто не говорит, пойду сейчас спрашивать, — ответил небольшой человек. — Может,

есть, а ребят ведь много на свете, одного взяли и забыли.

— Ты маленький, а ведь умный! — удивился Яков Саввич.

— Я нечаянно стал, один живу, хожу и думаю.

— Давно ты родителей ищешь?

— Давно... Забыл уж, где тетка живет. Пускай бы костью била и хлеб из остатка давала, а то я не евши.

Яков Саввич зажег свет в кузнице и поднял на руки прибывшего ребенка, чтобы рассмотреть его лицо. Мальчик был одет в штаны на одной пуговице и в рубашку, а картуза и обуви не имел. Все обветшало на нем, материя стала редкой, точно вихри обдували его. Лицо, лишенное детского запаса жира, было худощавым и морщинистым, серые угрюмые глаза глядели терпеливо, готовые без слез перенести неожиданный удар.

— Ну, ничего, — сказал Яков Саввич. — Жить будешь, — и опустил ребенка на землю.

Мальчик стал жить в кузнице. Он ел так мало, что Яков Саввич его не прогонял, портки же и рубашку он чинил сам, когда они раздирались от старости. Во сне ребенок часто бредил одной и той же мыслью о матери и об отце, а Яков Саввич слушал и ухмылялся: он знал, что родители ничего не означают, кроме детской мечты в сердце.

Вскоре сирота собрал себе тряпки по соседним дворам и сшил мешок; в этот мешок он накопил хлебных кусков, а потом в одно утро стал прощаться с Яковом Саввичем.

— Пойду мать искать, с чужими скучно жить.

— Я тебе пойду! Я тебя ремнем драть буду.

— А я жрать много стану, тогда сам прогонишь.

Яков Саввич задумался. Он попросил жену товарного кондуктора, чтоб она усыновила его мальчика, а он зато не будет брать с них плату за квартиру. Однако кондукторша отказалась: кормить не жалко, но своих детей много и за безродного тоже надо душой болеть как за своего.

Мальчик на время присмирел и потихоньку сделал себе башмаки: снизу положил деревянные подошвы, а верх обсоюзил кровельным железом; затем он собрал и насушил себе грибов и пошел куда-то прочь. Яков Саввич, ходивший продавать готовые ведра, вернул его уже с улицы:

— Ты куда?

— По своему делу.

— По какому — своему? Ты где обужу взял?

— Сам сделал. Пойду теперь далеко, в обужу ноги не уморятся, — и никогда к тебе не вернусь.

— Фу ты, скот какой! Так ведь я же твой отец и есть!

Мальчик осторожно поглядел на старого кузнеца.

— Отец бы заплакал по мне, как я по нем плачу, когда ты спишь... Ты мне чужой!

— Я сам сирота, — ответил Яков Саввич, смущаясь печали ребенка.

— Тебе давно отцом пора быть, а ты нет... Я жду, когда только вырасту. Ем только мало — на мне говядина не держится. Приняться не с чего.

— А что? — испугался Яков Саввич.

— Детей тогда начну рожать и буду до самой смерти с ними жить. Пускай у них будет отец, а то у меня нету.

— А сколько тебе лет-то?

— Если бы были отец с матерью, они бы знали. И звать они знают как, я все позабыл.

Яков Саввич вернул его назад и мальчик умолк. Пока у ребенка не было своих детей, он приучил к себе воробьев, давая им хлебные крошки, просяное зерно и разный мусор пищи. Воробьи ели, а наевшись, начинали ссориться и разлетались вдребезги, каждый отдельно, а потом сходились опять, чтобы снова суетиться вместе в нужде и в драке. Яков Саввич сделал для сироты железную клетку, и мальчик стал водить в ней воробьев. Но воробьи жили недолго, они скоро умирали, ложась навзничь в своей тоске. Тогда мальчик начал сажать их в клетку по два и по три, чтоб у них рождались дети и они жили бы ради них без печали. Однако воробьи опять ложились и все умирали. Это событие озадачило даже Якова Саввича, но он не знал, в чем тут тайна, — ведь даже соловьи живут в клетках и орлов приручают, а воробей все равно ютится почти под ногами, почему же он сразу кончается в клетке... Зачем ему свобода, когда он летает в длину на один аршин и проживает свою жизнь на двух соседних дворах? А кто может перелететь через море, тот оказывается и в клетке поет!

— Будь же ты все проклято: значит я вроде воробья! — сказал Яков Саввич. — Либо опять мне тронуться куда-нибудь! Так ведь одинаково везде — поля да избушки, облака и мелкие речки... Ну что ж: пусть я воробей, а ведь если другой птицей стать, то в клетке насидишься.

Мальчик перестал водить воробьев: «Вы не люди, — сказал он им, — надо мучиться, а вы прямо умираете, с вами не игра». Он часто ходил по саду, ища в деревьях, в мелких насекомых и в неизвестных мертвых предметах какого-либо родства себе, привязанности и взаимного горя одино-

чества, но обманывался только на короткое время, потому что его сердце было серьезным.

Каждый день сирота прислонялся лицом к окну в глиняной стене и смотрел, что там есть внутри дома. Там стояла табуретка, а над ней ведро с водой и кружка. Рядом с табуреткой находилась деревянная кровать, на той кровати всегда сидела лысая старуха и глядела белыми, забытыми глазами в одно пустое место перед собой. По старухе иногда ползали мыши, ее шею ели клопы, но она их плохо чувствовала или жалела свою силу, чтобы бороться с ними. Мальчик долго ее боялся, но старуха раз сидела и плакала с открытыми глазами, тогда он вынул оконную раму и влез внутрь глиняного дома. С тех пор он почти каждый день бывал в гостях у старухи, снимал клопов с нее и прогонял мышей. Старуха ничего не говорила мальчику, только раз, когда он подошел к ней близко, она положила легкую, как деревянную, руку ему на голову, на русые волосы и перебрала их своими пальцами. Скоро мальчик привык ходить к старухе и она ждала его; он замечал через окно, что если он пропускал день или два, то старуха сидела скучная, или плачущая. Мальчик научился мыть старуху, варил ей кашу в кузнечном горне и сшил на ее голую голову чепец из старых варежек Якова Саввича, чтобы она не застывала по ночам.

Раз в неделю к старухе приходила дочь, пожилая женщина, приносила ей хлеб, меняла воду в ведре и молча уходила опять. Мальчик узнал, что у старухи восемь сыновей и пять дочерей, все они большие и даже старые, есть среди них богатые и бедные, но к ней давно никто не ходит, кроме средней дочери, и она забыла лица своих детей,

не помнила кому сколько лет и путала живых с умершими в младенчестве.

Чтобы старухе не скучно было, когда она сидит одна, мальчик поймал для нее щегла, посадил его в свою воробьиную клетку и принес ей в подарок. Вынув, как обычно, окно, он пролез внутрь комнаты. Старуха лежала на полу, навзничь, глаза ее были открыты, но не глядели. Мальчик наклонился к ней и стал складывать ей руки на грудь, заголившиеся ноги одел платьем, а веки глаз закрыл пальцами, — он видел, как обращаются с мертвыми, и знал это дело. Теперь ему не было смысла оставаться у кузнеца, раз умерла старуха, и надо скорее искать мать или отца, чтобы сразу же не заплакать от горя.

Он выпустил из клетки щегла, перелез через плетень и ушел отсюда чужими огородами, не взяв с собою ничего и не наевшись под конец.

Яков Саввич сильно заскучал по пропавшему мальчику, но найти его не старался: мало ли кто пропадает на свете. Он и сам пропал через несколько времени, когда наступила Февральская революция. Яков Саввич правильно посчитал, что революция доходнее всего, выгодней даже, чем часы вечного хода, и пошел в нее орудовать, а через полтора года его убили на гражданском фронте. Яков Саввич служил добровольцем в Красной артиллерии на стороне многих безродных сирот, а другая артиллерия попала в него, но он умирал в полной мысли, сказав самому себе на прощание: «Вот я и отделался сам от себя, давно бы пора» — и сжал веки, наболевшие от зрения в течение жизни.

Тот мальчик-сирота вырос по другим местам в большого честного юношу. Он много раз затем

проезжал по той дороге, где стояли когда-то уездные сады и в одном из них была деревянная кузница и глиняный дом старухи. Он никогда не узнал и не нашел точного расположения своего детского мира: кругом — в стране бывших сирот — стояли высокие чистые города, шумели листья новых деревьев, блестели дороги вперед и многие, неизвестные, красивые люди народились повсюду и ходили везде. Юноша глядел на своих встречных товарищей и улыбался им: он знал, что среди них есть много таких же, как он, круглых сирот, которые наравне с ним создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности.

СЕМЕН

РАССКАЗ ИЗ СТАРИННОГО ВРЕМЕНИ

Семилетний ребенок весь долгий, летний день своей жизни был занят работой: он заботился о двух братьях, еще более маленьких, чем он. Самую же меньшую сестру пока еще няньчила сама мать, и старший семилетний сын до некоторого времени как бы отдыхал от нее. Но он знал, что скоро и сестра будет отдана в его хозяйство, потому что у матери опять подымался живот, хотя она и говорила сыну, что это от еды. Отец и мать семилетнего Семена Пономарева были люди добрые, поэтому мать постоянно рожала детей; чуть откормив грудью одного, она уже ласкала другого.

— Пускай живут, — говорил отец, узнав, что жена опять понесла, — чего им там томиться?

— Папа, а где они там? — спрашивал Семен. — Они там мертвые?

— А то какие же? — говорил отец. — Раз с нами не живут, то мертвые.

— Они там мучаются? — узнавал Семен.

— Ты видишь, сюда все лезут, значит мучаются, — сообщал отец. — С нами им плохо: ты уж большой — сам знаешь, а там еще хуже...

— У нас плохо, — говорила мать, засовывая хлебную жвачку в рот самой меньшей дочери. — Ох, плохо...

Отец глядел на мать кроткими, сильными глазами.

— Ничего. Пусть растут: не жить им — еще хуже.

Лишь года три-четыре после своего рождения Семен отдыхал и жил в младенчестве, потом ему стало некогда. Отец сам сделал тележку из корзины и железных колес, а мать велела Семену катать по двору маленького брата, пока она стряпает обед. Среди дня маленький брат спал, но вскоре просыпался и плакал, — тогда его приходилось опять возить по двору кругом — мимо сарая, нужника, калитки в сад, мимо флигеля, плетня, мимо ворот на улицу и снова к сараю. Затем, когда родился и подрос еще один брат Семена, он их сажал в тележку сразу двоих и тоже возил по двору кругом, пока не умаривался. Уморившись, он просил у матери хлеба в окно, и она ему давала кусок, а Семен снова усердно упирался руками в грядущку тележки и вез ее перед собой, забываясь в долгом путешествии среди соломинок, сора, камешков и редких травинок двора; он глядел на них вниз сонными глазами и шептался с ними о чем-то или думал в уме, что они тоже такие, как он, и нечего ему скучать, они ведь молчат и не скучают — ни соломинки, ни трава. Иногда Семен разговаривал со своими братьями в тележке, но они мало понимали его и любили плакать; если они плакали долго, то Семен их наказывал, давая каждому рукой по голове, но редко. Семен видел, что его братья жалкие люди и, может быть, плачут от испуга, что их обратно прогонят туда, где они были мертвые,

когда не рожались. «Пусть живут», — соглашался Семен. Время от времени Семен спрашивал у матери в окно:

— Мама, пора?

— Нет, нет, катай их еще! — отвечала мать из комнаты.

Она там стряпала, кормила и качала последнюю девочку, стирала, штопала и чинила белье, мыла полы, бедные деньги берегла как большие, сама дрова с девчонкой на руках ходила собирать около склада, где их мужики возили и роняли нечаянно с возов, а потом не подымали, чтоб легче было лошадям, — дрова чужие, а лошади свои.

Отец Семена работал кузнецом в кузнице около шоссейной дороги, которая шла до Москвы на тысячу верст и еще дальше. Отец дома только спал, а утром он просыпался раньше всех, брал краюшку хлеба и уходил. По вечерам же, зимой и летом, он приходил уже в темноте, редко заставая самого старшего сына Семена, когда тот еще не спал. Перед тем как лечь спать, отец обыкновенно лазал по полу на коленях между спящими детьми, укрывал их получше гунями, гладил каждого по голове и не мог выразить, что он их любит, что ему жалко их, он как бы просил у них прощения за бедную жизнь; потом отец ложился около матери, которая спала в один ряд с детьми тоже на полу, клал свои холодные занемевшие ноги на ее теплые и засыпал.

Утром, проснувшись, дети начинали плакать — они хотели есть, пить и, кроме того, им было странно и непривычно жить, в их теле что-нибудь постоянно болело, потому что там не произошло еще окостенения. Один Семен не плакал, он молча терпел свою нужду в пище и сначала

заботился о братьях, а потом уж доедал с матерью, что оставалось от меньших детей или то, что случайно испортилось и протухло, чтобы зря не выкидывать еду. Мать уже давно жила, она не могла сильно мучиться, когда хотела есть, но Семен тосковал до самого обеда. Катая братьев в тележке, он шел печальный, потому что в нем болело сердце от голода, он плакал и тихо скулил, чтобы забыться. Братья глядели на него из тележки и тоже начинали кричать от страха, раз их старый брат боится чего-то. Тогда Семен находил в выброшенной печной золе кусочки древесного угля или отламывал известку от стены флигеля и давал братьям; они принимались сосать и глотать уголь и от жадности переставали кричать. Семен же закатывал тележку с братьями за сарай, где между курником, плетнем и стеной сарая рос лопух, лежали жестянки и житейский мусор, а сам уходил на улицу. Там он ходил мимо чужих домов, ища глазами, что валяется на земле. Больше всего он любил находить опрызки яблок и морковь. Когда он находил их и ел, у него слабело сердце от радости, — он сразу смеялся и бежал поскорее обратно к братьям, которые могли без него уползти из тележки неизвестно куда и навеки пропасть. Семен на бегу поднимал подол рубашки и смотрел на свой живот; ему казалось, что там живет кто-то отдельный от него, который то мучает его, то ласкает, но лучше б там не было никого совсем, лучше жить одному без горя.

Братья, действительно, самостоятельно выбирались из тележки, — один из них умел только ползать, а другой уже ходил понемногу. Который ходил, тот не мог далеко уйти — его били все

встречные предметы — по лбу, по боку, в живот, и он вскоре сваливался от боли и плакал. Опасен был меньший брат, Петька, который ползал; он был еще весь мягкий, пухлый от младенчества, он полз медленно и встречные предметы трогали его мало, поэтому он мог тихим ходом уползти в щели под плетнями и скрыться в траве и кустарнике на чужих дальних дворах или заснуть в собачьей будке.

Собрав братьев обратно в тележку, Семен опять их катал по земле, рассказывая им, какие на свете бывают дожди и молнии, какие башни стоят в городе, где живут богатые, — он уже много прожил и все видел; у него есть дом из железа на краю леса, он ходит туда ночью, чтобы жить там одному по-страшному, потому что он работает царем у волков. Братья слушали его со страхом и верой; младший Петька понимал мало, но все равно боялся. Сам Семен тоже слушал свои рассказы с интересом, и хотя у него не было по правде железного дома и он не служил по ночам царем у волков, но он был счастлив от своего воображения на самом деле. Открыв рты, забывая моргать глазами, братья глядели на Семена как на высшего, ужасного человека; у них не было ничего, что нужно рассказывать, они и говорить умели лишь немного слов, поэтому, слушая, дети не помнили самих себя.

Но Семену вдруг становилось жалко двух своих братьев; в них нехватало даже ума, чтобы воображать себя хорошими, и они еще не успели научиться любить одну свою жизнь. Дети смотрели на старшего брата доверчиво и по-бедному, их глаза не выражали сладкой радости и выдуманной мысли или гордости, — для них было не-

важно, где происходит счастье — внутри их или снаружи, в другом человеке, лишь бы это было и они могли знать, чтобы не сомневаться.

— Я царем не работаю, я нарочно, — грустно говорил Семен. — Я бы тогда деньги или говядину домой приносил, а то у нас нужда в доме, всего мало...

— А ты воруй говядину и матери давай, — советовал второй после Семена, пятилетний Захар. — У мамы голова болит от горя, она мне говорила, — вспомнил Захар; он уже умел собирать щепки для растопки самовара и следил во время обеда, чтобы мать не обделила его куском — отцу надо побольше, чем ему, Семену чуть-чуть только побольше, а Петьке меньше всех, он еще не вырос и может объесться.

Однажды мать до обеда закричала Семену в окно, чтобы он шел скорее домой. У нее начались родовые муки, и она велела Семену сходить к Капишке — бабке-повитухе, чтоб она пришла. Семен враз привел старуху за руку, он ее знал и раньше. У Капишки был один только верхний зуб, этим зубом она прихватывала нижнюю губу, а то губа свешивалась вниз и тогда открывалась темная пропасть пустого рта. На ночь, на сон грядущий, Капишка подвязывала нижнюю челюсть тесемкой к темени, иначе рот ее разваливался во сне и туда набирались мухи, ища себе теплое место. Лицо Капишки давно уже стало походить на мужика, оно позеленело от старости и, должно быть, от злобы, а на верхней губе ее росли седые усики. Старуха была такая худая, что Семен слышал, когда вел ее за руку домой, как в ней что-то шуршало и поскрипывало, наверно, ее жилы терлись о кости.

Капишка взяла от матери и отдала Семену самую маленькую, ручную сестру-девчонку и велела ему долго не приходить домой. Семен посадил сестру в тележку меж двух братьев и сказал им, что мать опять рожает, теперь им еще хуже будет жить. Он увез детей за курник, где было тихое место, и там они все задремали, потому что прошел уже полдень, была пора обедать, а мать заболела. Семен покачал детей в тележке, чтоб они крепче заснули, а сам ушел домой и спрятался в снях, во тьме. Он хотел услышать, как рожаются люди, отчего они живут, и дрожал от горя и страха. Мать в комнате то кричала, то стонала, то шептала чего-то. Капишка гремела посудой, раздирала материю в тряпки и хозяйствовала там, как на домашней ежедневной работе.

— А ты не плачь, не горюй, моя дочка! — сказала Капишка матери Семена. — Дай я к тебе рядом лягу, может — тебе полегчает!..

Капишка покряхтела немного, а потом в комнате стало тихо. Наверно, старуха легла рядом с матерью на перину, постеленную на пол. Слышно лишь было, как мать часто и трудно дышала, словно спеша переработать свое мученье.

— Тебе — трудно, а как же ему-то? — говорила Капишка.

— Кому, бабушка? — быстро, стараясь не заплакать от боли, спросила мать.

— А тому, кто рожается! — сказала Капишка. — В него ведь душа входит сейчас, в самую тесноту, в середину тельца лезет к нему, все жилы жмет и натягивает... А ты, что ж, отражаешь, ухмыльнешься да опять почнешь, — чем тебе заниматься-то?..

— Я больше не буду рожать, — томясь, сказала мать.

— Ньюжли ж не будешь? — произнесла старуха. — Аль так я тебе и поверила!.. И-их, дочка, рожать не будешь, замутнеешь, погниешь, заквокнешь вся — не вспомнишь, что жизнь прожила, злобой подернешься... Лучше уж мучиться, да знать, что живая живешь!

Мать опять застонала.

— Иль опять трудно? — сказала Капишка. — Ну, дуйся, дуйся, надувайся прилежней! Давай вместе, я тоже буду рожать! — и старуха начала кряхтеть и надуваться; она старалась в этом больше матери, ради того, чтоб утешить роженицу и хотя бы одной видимостью положить часть ее мук на себя.

Семен продрог от ожидания и грусти; из комнаты пахло чем-то кислым и словно желтым, мальчик сидел и боялся. Вдали, на дворе за курником, сразу с чего-то закатилась криком младшая сестра Ньюшка, — может быть, она упала из тележки вниз головой. Но крик сестры вдруг прекратился, как будто его и не было и он лишь почудился. Семен побежал туда, к детям, на проверку. На дне тележки спал один меньший Петька, а Захарка и Ньюшка уже вылезли оттуда куда-то: это наверно Захар вытащил сестру, сама она не сумела бы оставить тележку. Семен огляделся и услышал, что Захарка говорит кому-то: «У, гадина такая, ты зачем рожалась!» Семен вошел в курник. Там в сумраке, под пустыми куриными насестами, Захарка сидел верхом на животе маленькой сестры и душил ее горло руками. Она лежала навзничь под ним и старалась дышать, помогая себе голыми ножками, которыми она скре-

блась по нечистой земле курника. Заплаканные глаза ее молча и уже почти равнодушно глядели в лицо Захарке, а пухлыми руками она упиралась в душащие ее руки брата. Семен дал сзади кулаком Захарке в правое скуло, Захарка свалился с сестры и ударился левым виском о плетневую горбушку в стене курника; он даже не заплакал, а сразу забылся от сильной боли в голове. Семен ударил его еще несколько раз по чем попало, но вскоре опомнился, перестал бить и сам заплакал. Сестра уже повеселела, она подползла к нему на четвереньках и ждала, пока старший брат обратит на нее внимание. Семен взял ее к себе на руки и, пошюнявив одну свою ладонь, вытер ей заплаканные глаза, а потом отнес ее в тележку, побаюкал там, и сестра покорно, испуганно загнула рядом с меньшим братом.

Захарка самостоятельно вышел из курника; на левой щеке его засохла кровь, но он больше не обижался. «Ладно, — сказал он Семену, — я тебе вырасту, все вспомню!» — и лег спать на землю около тележки, зная, что мать опять рождает и обед не готовила. Семен тоже лег в тени тележки и заснул, пока вечернее солнце не засветило ему в лицо.

Но есть время в жизни, когда невозможно избежать своего счастья. Это счастье происходит не от добра и не от других людей, а от силы растущего сердца, из глубины тела, согревающегося своим теплом и своим смыслом. Там, в человеке, иногда зарождается что-то самостоятельно, независимо от бедствия его судьбы и против страдания, — это бессознательное настроение радости; но оно бывает обычно слабым и скоро угасает, когда человек опомнится и займется

своей близкой нуждой. Семен часто просыпался нечаянно счастливым, потом одумывался и забывал, что ему жить хорошо.

Вечером пришел из кузницы отец и стал варить кулеш в чугунном горшке. Мать уже родила девочку и спала от потери сил. Капишка дождалась кулешу, поела со всем семейством и стала говорить отцу, чтоб он ей дал денег, а то ей хочется жить дальше, но не на что. Отец дал ей сорок копеек, Капишка завязала их в уголок платка и пошла к себе на ночлег.

На другой день отец спозаранку ушел на работу, а мать не могла подняться. Поэтому Семен повел один целое хозяйство. Сначала он привез на тележке два ведра воды из бассейна, затем стал умывать, обряжать и кормить детей. Кроме того, надо было убрать комнату, сварить для матери жидкую кашу, купить хлеба и молока, глядеть за двумя братьями, чтобы они не скрылись куда-нибудь, не провалились в нужник и не сделали пожара.

Мать молча, слабыми глазами следила за Семеном, как он заботился и работал. Новорожденная девочка лежала при ней и уже сосала, кормилась из ее груди.

В полдень Семен наплатил всех детей хлебом с молоком, а мать кашей, и дети легли спать. Семен стал уже думать, чем кормить семейство вечером, потому что за обед все поели, а запасов и остатков не было. Вымыв посуду, Семен пошел к домохозяину, чтобы попросить взаймы хлеба и пшена.

— Да ведь вы не отдадите, небось! — сказал домохозяин; у него было десятин сорок земли и он сдавал ее в аренду крестьянам, а сам ничего

не делал, лежал на диване или на лежанке и читал крестовый календарь Гатцука. Семену давно хотелось попросить у домохозяина крестовый календарь и посмотреть в нем картинки, но он боялся.

— Мы отдадим, — сказал Семен. — Отец вот получку получит, а я принесу...

Домохозяин дал Семену хлеба фунта два и пшена в подол рубашки.

— Гляди, чтоб ваша саранча на дворе не гадила! — сказал хозяин. — Захарка сегодня в трех местах напачкал, ты убери пойдии...

— Сейчас уберу пойду, — пообещал Семен. — Они ведь маленькие еще, не понимают.

— А вот я, как увижу, дам ему чертоплешину по башке, он сразу поймет! — сказал хозяин.

— Бить их лучше не надо, — попросил Семен, — а то я ваш дом ночью подожгу!

— Ишь ты, сволочь какая!.. — заговорил домохозяин, но Семен уже скрылся с хлебом и пшеном.

Летний детский день жизни шел долго и трудно, пока не напитались все птицы, воробьи и куры; когда они уже умолкли и стали дремать от пищи и усталости, тогда на небе появился сумрак и слышно стало, как вдалеке по шоссеиной дороге уезжают телеги в деревню и стучат кузнецы в придорожных кузницах.

Мать и все дети в семействе Семена еще спали; он один сидел на сундуке и ожидал, когда проснется кто-нибудь, — он не привык жить один на свободе, в нем собиралась печаль и сердце опять хотело заботы. Но глаза Семена начали слипаться, он прилег головой на сундук и, стараясь кое-что помнить, все позабыл и уснул.

Однако все матери спят мало, и мать Семена тоже вскоре открыла глаза.

— Семен! — сказала она. — Затопи печку, поставь чугуны с водой, искупай ребятшек!..

Семен сразу вскочил со своего места на сундуке. Но мальчик еще не отдохнул, не согрелся во сне и теперь дрожал от слабости.

— Мне плохо, — говорила мать, — сходи за отцом, пусть он пораньше придет.

— Сейчас, — сказал Семен. — Мама, не рожай больше детей, я уморился.

— Я больше не буду, — ответила мать; она лежала навзничь на перине и еле дышала, истощенная рождением ребенка.

Новая дочка лежала около матери в глубоком сне и не понимала, что она уже живая. Семен с удивлением глядел на свою самую маленькую сестру: только что родилась, ничего еще не видела, а спит все время и просыпаться не хочет, как будто жизнь для нее была неинтересна.

— Семен, попробуй меня, какая я холодная, — произнесла мать. — Если я умру, ты выходи детей за меня, отцу ведь некогда, он хлеб нам добывает...

Семен прилег к матери и попробовал ее лоб — он был холодный и мокрый, а нос ее стал худой и глаза побелели.

— Все внутренности отвалились во мне, я как пустая лежу, — сказала мать. — Ты самый старший, ты береги своих братьев и сестер, может — хоть они людьми вырастут...

Мать подержала голову Семена в своих руках и велела ему:

— Иди за отцом.

Семен сходил за отцом, но тот не смог сразу

притти, ему еще осталось ошиновать три колеса, и хозяин ждет работу. «Дотерпит, не помрет, — сказал хозяин кузницы про Семенову мать, — жены, они каждый месяц у нас помирать собираются!» Семен, вернувшись, развел на загнетке огонь под таганом и начал варить пшенный кулеш на ужин. Ребятишки уже проснулись, — Захарка встал около загнетки и подкладывал щепки в огонь, чтобы кулеш скорее и вкусней варился, а Петька подполз к матери и долго смотрел в ее лицо и водил по нем руками, точно проверяя, что мать еще цела, она только больная и плачет.

Отец вернулся из кузницы, как обычно, в темноте. Он поел, что оставил ему Семен от детей, и лег спать рядом с матерью. Семен еще не спал, он видел как отец осторожно обнял мать и поцеловал ее в щеку; мать повернулась к отцу лицом, сжалась как маленькая, тесно собирая свое коченеющее, опустевшее тело. Полежав немного, отец встал и пошел в чулан. Он принес оттуда старую, большую дерюжку и покрыл ею все время стынувшую мать. Новую девочку он переложил от матери к себе, потому что мать уже не могла бы ею заниматься, если она заплачет ночью. Семен всю ночь хотел не спать, боясь, что мать умрет или отец нечаянно задавит во сне младшую девочку, но глаза его сами закрылись и он открыл их лишь утром, когда на него залез Захарка и ткнул ему пальцем в ухо.

Отец ходил по комнате, качая на руках плачущую новорожденную дочь. Мать попрежнему лежала на полу на перине, покрытая одеялом, а сверху большой дерюгой. Она спряталась там с головой и не вставала.

Семен подошел к матери — посмотреть ее и

спросить, что ему нужно делать с утра, чего стряпать ребятишкам и где занять денег до получки отца.

— Не надо ее открывать, — сказал отец Семену, — она под утро умерла. Ступай, сходи за Капишкой.

— Зачем за Капишкой? — спросил Семен.

— Пускай она у нас теперь живет, — говорил отец. — Будет хоть за детьми смотреть и обед готовить. Она старая женщина.

— На что нам Капишка! — произнес Семен.

— Старая жаба такая! — сказал Захарка. — Она жрать много будет, а нам самим мало!

Семен взял к себе новую сестру из рук отца. Петька и младшая сестра (теперь уже старшая) сидели на полу; они молча играли друг с другом в разный сор и лоскутки материи, делая из них себе вещи и богатство.

— А как же нам теперь жить! — сказал Семен и жалостно сморщил лицо; горе его медленной горячей волной подымалось от сердца к горлу, но еще не дошло до слез. — Чем же нам теперь грудную кормить, она ведь тоже умрет...

— Она еще маленькая, — говорил отец, — она не жила еще, не привыкла, не знает ничего. Придется ее с матерью вместе похоронить.

Семен укачал на своих руках плачущую новую девочку, она уснула и умолкла. Он положил ее временно на перину, к ногам матери.

— Папа, сколько стоит коза? — спросил Семен.

— Да, наверно, недорого, я не знаю, — ответил отец.

— Купи ее нам в получку, — попросил Семен. — Захарка будет в поле пасти ее ходить, а вечером я подою из нее молоко, вскипячу его, и

мы сами без матери выкормим девочку. Я ей из соски буду давать, — купим сосок и на пузырек его наденем... Только скажи сам Захарке, чтоб он из козы в поле ничего не сосал, а то он любит выгадывать!

— Я не буду ничего сосать из козы твоей, — пообещал Захарка. — В ней молоко несладкое, мне давно мама давала.

Отец молчал. Он глядел на всех своих детей, на умершую жену, которая грелась около него всю ночь, но все равно не могла согреться и теперь окоченела, — и кузнец не знал, что ему подумать, чтобы стало легче на душе.

— Им мать нужна, а не коза, — произнес отец. — Ведь ты только, Семен, один старший, а они ещё маленькие все...

Семен был сейчас в одной рубашке, потому что не успел надеть штанов с тех пор как проснулся. Он поглядел вверх на отца и сказал ему:

— Давай я им буду матерью, больше некому.

Отец ничего не сказал своему старшему сыну. Тогда Семен взял с табуретки материно платье — капот и надел его на себя через голову. Платье оказалось длинным, но Семен оправил его на себе и сказал:

— Ничего, я его подрежу и подошью.

Умершая мать была худая, поэтому платье на Семена пришлось бы впору, если б оно не было длинным. Отец смотрел на старшего сына — «восьмой год уж ему», подумал он.

Теперь, одетый в платье, с детским грустным лицом, Семен походил столько же на мальчика, сколько и на девочку, — одинаково. Если б он немного подрос, то его можно принять даже за де-

вушку, а девушка это все равно что женщина, это почти мать.

— Захарка, ступай на двор, покатай в тележке Петьку с Нюшкой, чтоб они есть не просили, — сказал Семен в материнском капоте. — Я вас тогда позову. У нас дела много с отцом.

— Тебя ребята на улице девчонкой дразнить будут! — засмеялся Захар. — Ты дурочка теперь, а не мальчик!

Семен взял веник и стал мести пол вокруг пирины, где лежала мать.

— Пускай дразнят, — ответил Семен Захарке, — им надоест дразнить, а я девочкой все равно привыкну быть... Ступай, не мешайся тут, бери детей в тележку, а то вот веником получишь!

Захарка позвал с собой Петьку, и он пополз за ним на двор, а Нюшку Захарка взял к себе на руки, еле справляясь с тяжестью сестры.

Отец стоял в стороне и понемногу, бесшумно плакал. Семен, прибрав комнату, подошел к отцу:

— Папа, давай сначала мать откроем, ее надо обмывать... А потом ты плакать будешь, и я буду, я тоже хочу — мы вместе!

ТАКЫР

1

Давно в ночное время сорок или больше всадников ехали мирным шагом в долине Фирюзы по краю речного потока. Горы Копет-Дага оберегающе и неясно стояли по сторонам прохладного ущелья — меж Персией и равниной вольных туркменов. Древняя иранская дорога уже тысячу лет несла на себе либо торжествующее, либо плачущее, либо мертвое человеческое сердце. И в ту давно минувшую ночь четырнадцать человек шли пешком рядом с линией конного отряда, связанные одной веревкой. Среди пеших было девять молодых женщин и одна маленькая девушка. Она шла без веревки и отставала от усталости. Душа пеших людей настолько утомилась, что они перестали чувствовать свое существование и шли, как без дыхания. Но сорок всадников были счастливы и осторожно хранили свое удовлетворение, чтобы приехать с ним на родину, которая была еще далеко за горами, в темноте пустыни. Один же конный человек был мертвым: его убили курды в Иране, и теперь он ехал, низко склонившись, привязанный к седлу и к шее своей уцелевшей лошади, чтобы его семейство имело возможность увидеть его и заплакать.

В полночь наступил свет в долине — от луны, преодолевшей высоту гор, и речной поток от этого света стал как бы неслышным. Отряд приурочился в тень старой чинары, растущей к небу и не умирающей много веков. Конные спешили, снизили лошадей, как верблюдов, уложили рядом пленников и сами легли. На выходах из ущелья еще могли появиться курды в погоню, несущие пограничную персидскую службу, еще стояли на ближних горах сторожевые башни, сложенные из берегового камня и глины. В этих башнях раньше селились обыкновенно дежурные солдаты персидских аулов и базаров, чтобы стеречь дорогу от туркменских аламанов и заранее известить об опасности в Персии посредством дыма из внутренних очагов — по всей очереди башен в глубину своей родины. Самым же опасным был русский пограничный разъезд, пост которого отряд миновал вчерашнюю ночь кругом по горам. Туркмены знали про то и держали ружья близ груди, чтобы убить всякого показавшегося врага. Это было позднее время последних аламанов.

Вскоре персидские пленники уснули, и горе в них прекратилось от потери сознания. Лишь в одной маленькой женщине, по имени Заррин-Тадж, ум бился наравне с сердцем, и она не спала. Ей было четырнадцать лет, она чувствовала тоску, удушающую ей горло, и глядела в темную сторону Хорассана, откуда ее увели. Иногда ей слышались издали звуки, помимо шума потока, — она думала тогда, что это, наверное, из Ирана в Туран уезжает поезд, который Заррин-Тадж видела однажды в детстве и запомнила, как гудит его бегущий дым. Туркмены, усталые от набега и бедствий пустынной жизни, закрывали по одно-

му глазу, чтобы дремать и видеть наполовину; лежащие лошади вытянули морды вровень с землей и громко дышали, не трогая близкой травы. Заррин поднялась с места. Ночной ветер медленно дул из Персии по ущелью, слышен был запах цветов, одинокая птица напевала где-то далеко в слепых горах, потом она умолкла; лишь река неслась и работала на камнях — всегда и вечно, во тьме и в свете, как работает раб в туркменской равнине или неостывающий самовар в чайхане. Персиянка поглядела на старинную чинару — семь больших стволов разрасталось из нее и еще одна слабая ветвь: семь братьев и одна сестра. Нужно было целое племя людей, чтобы обнять это дерево вокруг, и кора его, изболевшая, изъеденная зверями, обхватанная руками умиравших, но сберегшая под собой все соки, была тепла и добра на вид, как земляная почва. Заррин-Тадж села на один из корней чинары, который уходил вглубь, точно хищная рука, и заметила еще, что на высоте ствола росли камни. Должно быть, река в свои разливы громила чинару под корень горными камнями, но дерево въело себе в тело те огромные камни, окружило их терпеливой корой, обжило и освоило и выросло дальше, кротко подняв с собою то, что должно его погубить. «Она тоже рабыня, как я! — подумала персиянка про чинару. — Она держит камень, как я свое сердце и своего ребенка. Пусть горе мое вырастет в меня, чтоб я его не чувствовала». Заррин-Тадж заплакала. Она была беременна второй месяц от курда-пастуха, потому что ей надо было любить хотя бы одного человека. Ближний туркмен смотрел на нее обоими глазами, довольный, что девушка скоро привыкнет

быть женой, если умеет плакать, и смиренно умрет под яшмаком в Туркменистане.

Луна скрылась за черные горы, стало опять глухо, ветер шел тенью по лицу Заррин-Тадж. Она легла на землю среди всех...

«Гель-Эндам давно увели эрсари, — шептала персиянка себе в сердце, чтобы сравнить свое горе с наибольшим страданием и тем утешиться. — Фатьма утонула в Дарье, а милая, лучшая моя Ханом-Ага, я слышала, живет у джафарбайцев, на берегу моря, и рождает детей. Я тоже буду с ними».

Персиянка уснула, успокоившись воспоминанием о подругах, которые так же прошли когда-то через это прохладное травяное ущелье и не умерли.

Наутро верховые туркмены вывели пленников из гор Копет-Дага; тогда некоторые курдские и персидские женщины, как только увидели чужую пустыню и странное небо, с другим светом, чем на родине, заплакали от наступившей печали. Но Заррин-Тадж не плакала. Выросшая в нагорной хорассанской роце, она с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучной, как детская смерть, и не понимала, зачем там живут.

Туркмены переждали день во впадине горного подножья. Они считались с курдами, которые иногда идут в преследование через русскую границу до самых открытых песков, и не хотели растратить победу на краю родины.

Всю другую ночь и еще полдня туркмены гнали пленников в даль своих мертвых песков. Потом отдыхали и ночевали в глиняной курганче аула, обнимали пленных девушек и снова шли

дальше. Вскоре Заррин-Тадж узнала своего мужа и хозяина Атах-Бабу, туркмена из племени текэ, человека более сорока лет. Он имел бороду и всегда одинаковые темные глаза, не устающие и не счастливые. Атах-Баба изредка звал к себе Заррин-Тадж и отставал от всех, чтобы жить с нею на песке. Лежа внизу, персиянка прислушивалась, как движется понемногу песок сам по себе: у него тоже была небольшая разнообразная жизнь. Вблизи стояла в ожидании лошадь Атах-Бабы и рассматривала обоих людей. Во время любви, раскинув свои руки, Заррин-Тадж пересыпала ими песок, наблюдала высоту над собою и думала постороннее. Атах любил ее угрюмо и серьезно, как обычную обязанность, зря не мучил и не наслаждался. «С ним я проживу», — молча полагала Заррин, видя, что это не страшно и не интересно; для себя она не получала никакого чувства, кроме тяжести Атах-Бабы и его бороды.

2

На двенадцатую ночь после родины пленников аламана пригнали к кибиткам близ колодца Таган. Здесь жило несколько семейств из рода Канджин, племени текэ. Атах-Бабу встретили четыре его жены и обрадовались ему лишь одним выражением своих лиц, а к Заррин-Тадж отнеслись без внимания. Атах отвел персиянку в кибитку и велел ее кормить и класть спать в семействе. Сам Атах отправился отдать убитого в аламане родственника, уже истлевшего в пути, отчего лошадь его, надышавшись трупом, мало пила воды на водопоях.

Заррин-Тадж села на полу кибитки в недоумении перед чужбиной. На родине она с шести лет собирала хворост и отсохшие сучья в горных рощах Хорассана для своего господина, у которого жила за пищу два раза в день. Там жизнь была привычна, и годы юности проходили без памяти и следа, потому что тоска труда стала однообразна и сердце к ней притерпелось. Лучшее время то, которое быстро уходит, где дни не успевают оставлять своей беды.

Одна старая жена Атах-Бабы спросила у персиянки по-курдски, какого она рода и в чьей кибитке родилась.

— Я не знаю, когда рожалась, — сказала Заррин-Тадж. — Я уже давно была.

Она действительно не помнила отца и матери и не заметила, когда произошла жить: она думала, что так было вечно.

Вдруг послышался плач и шум озлобления. Три босых и жалобных женщины вошли в кибитку и сели вокруг персиянки на поджатых ногах. Сначала они непонятно, грустно заговорили, а потом подползли к Заррин-Тадж, обхватили ее и стали царапать ногтями по лицу ее и худому телу. Персиянка сжалась и стала маленькой для своей защиты, но втайне она замечала, что злоба женщин бедна силой, и терпела боль без испуга. Пришедший назад Атах-Баба постоял немного в молчании, а потом сказал: «Этого довольно, она молода, а вы старые дырки!» — и выгнал чужих женщин прочь.

Они ушли и снаружи опять заплакали по убитому мужу.

Ночью Атах-Баба лег спать рядом с пленницей, и, когда все уснуло и пустыня, как прожи-

тый мир, была у изголовья за войлоком кибитки, хозяин обнял тело персиянки, обнищавшее в нужде и дороге. Было все тихо, одно дыхание выходило у спящих, и слышалось, что кто-то топал мягкими ногами по глухой глине, — может быть, шел куда-то скорпион по своему соображению. Заррин-Тадж лежала и думала, что муж — это добавочный труд, и терпела его.

Но когда Атах-Баба ожесточился страстью, то две других жены зашевелились и встали на колени. Вначале они яростно шептали что-то, а потом сказали мужу:

— Атах! Атах! Ты не жалеяй ее, пусть она закричит.

— Помнишь, как с нами было? Зачем ты ее ласкаешь?

— Искалечь ее, чтоб она к тебе привыкла!

— Ишь ты, хитрый какой!

Заррин-Тадж не слышала их до конца, она уснула от утомления и равнодушия среди любви.

3

Заррин-Тадж стала жить кочевницей. Она доила верблюдицу и коз, считала овец и доставала воду из колодцев на такыре — по сто и по двести бурдюков в день. Больше она никогда не видела птиц и забыла, как шумит ветер в древесных листьях. Но время молодости идет медленно. Еще долго тело персиянки томилось жизнью, точно непрестанно готовое к счастью.

Когда овцы начинали худеть илидохнуть от бестравия, Атах-Баба велел снимать кибитку, собирать в узлы домашнее добро и уходить в даль.

нейшее безлюдие, где земля свежее и еще стоит нетронутой бедная трава. Весь небольшой род снимался с обжитого места и шел через горячий такыр в направлении одинакового пустого пространства. Впереди ехал аксакал и умные мужья на ишаках. Ишачки везли бугры сложенных кибиток и старых жен, позади брели вразброд, как безумные, овечьи стада, а Заррин-Тадж и прочие рабы шли пешком, унося на себе тяжелое серебро, подарки мужу старых друзей и еду в горшках.

Персиянка радовалась, если приходилось идти по песчаным холмам, утопая ногами в их теплоту. Она следила, как ветер тревожит и уносит дальше какое-то давно засохшее растение, рожденное, может быть, в синих смутных долинах Копет-Дага или на сырых берегах Аму-Дарьи. Но часто нужно было проходить долгие такыры, самую нищую глинистую землю, где жара солнца хранится не остывая, как печаль в сердце раба, где бог держал когда-то своих мучеников, но и мученики умерли, высохли в легкие ветви и ветер взял их с собою.

Новое место всегда было труднее старого. Надо было расчищать и готовить колодцы, устраивать пастбища и разыскивать вдалеке, где уцелел занесенный песком саксаул.

С течением времени Заррин-Тадж начала отвыкать от своих интересов и от самой себя. Когда Атах-Баба ел плов, а мясные остатки доставались только другим его женам, персиянка не мучилась от голода и зависти. Она всегда молчала и постоянно заботилась среди животных, не сознавая своей души, чтобы она ни о чем не тосковала.

Иногда она ложилась от утомления среди та-

кыра, пустота и свет окружали ее. Она глядела на природу — на солнце и на небо — с изумлением своего сердца: «Вот и все!» — шептала Заррин-Тадж, то есть вот вся ее жизнь и чувствуется в уме, и обыкновенный мир стоит перед глазами, а больше ничего не будет.

Она пробовала свое тело руками — кости были уже близко, кожа засыхала от усталости, руки сработались до жил, — это исчезает понемногу ее жизнь: луна восходит медленно, но закатывается скоро.

Через несколько месяцев Заррин-Тадж родила маленькую девочку. Атах-Баба обрадовался этой чужеродной жизни, потому что девочка останется у него рабыней, и велел назвать ее Джумалью.

Персиянка прижала ребенка к себе и поняла, что не все еще прожито ею. Была зима, с такыра текла в колодцы дождевая вода, осел кричал с такую грустью, что будто он остался на свете круглой сиротой и теперь заболел печалью.

Через некоторое время Заррин-Тадж ослабела, ее здоровье пропало, она легла и не могла подняться; ребенок лежал при ней и согревался о ее горячее тело. Кибытку продувало из-под низу, мертвый такыр шумел от потоков дождя. Атах-Баба стоял над персиянкой, и слезы его капали на ее кошму; он страдал, что не может жить с нею дальше, такой худой, не помнящей его. Он ежедневно ел баранье мясо и сало, тяжкая сила любви скоплялась в его сердце, не зная облегчения с милой женщиной, которая лежала горячая и безумная. Изредка, в заглохшие ночи, Атах-Баба откладывал ребенка от Заррин-Тадж и обнимал ее в тоске своей мертвой силы. Но время шло, как шумит ветер над песками и уносит ве-

сенних птиц в зеленые влажные страны. Персиянке представлялось в жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут караваны верблюдов, скачут всадники в даль и гудит поезд в Туран. Но птичка поет все более умно и тихо: почти про себя. Заррин-Тадж проснулась и решила жить, как эта птица, пропавшая в сновидении. Она выздоровела. Однако Атах-Баба хранил ее ради ребенка и не велел несколько дней работать.

Другие жены давали ей пищу на кошму с бранью, оттого что она лежит здоровая, а они, старые и больные, мучаются одни в скучном труде.

Заррин-Тадж вскоре встала сама. Ей нечего было ни думать, ни чувствовать, поэтому легче было шевелиться в беспрестанной заботе по хозяйству и изживать понемногу свое сердце. Она стала опять спокойной, когда положила Джумаль в повозку за спиной и, склонившись, стала доить коз, собирать на топливо ищачьи остатки и вытаскивать воду из колодца. Если бы даже она была счастлива, она все равно занималась бы этими делами, потому что, чтобы сберечь счастье, надо жить обыкновенно.

Джумаль долго лежала за спиною у матери, свернувшись в комок от страха пережитого рождения и слушая с удивлением звук своего собственного сердца — в ожидании, когда оно остановится, чтобы уснуть; потом Джумаль начала постепенно ходить самостоятельно и понимать свое существование. «Это я!» — чувствовала она неизвестное и трогала хрящи своих будущих костей. Но еще долго Джумаль не отходила от ма-

тери и гладила ее низко согнутую спину, горячую и влажную, где она лежала, грелась и спала. Ей стало нравиться жить, и она ела глину, траву, овечий помет, уголь, сосала тонкие кости животных, павших в песке, хотя ей достаточно было материнского молока.

Ее маленькое тело опухло от веществ, которые все пошли ей в пользу и в рост, глаза, свежие от сырости недавнего прозрения, глядели внимательно и точно на все обычные вещи, к биению своего сердца она уже привыкла и не боялась, что оно остановится.

4

Долго шло ее детство. Каждый день горело солнце на небе, начинался и кончался ветер, играли и плакали дети в затишье песчаных холмов, потом солнце делалось красным, огромным и тяжелым, оно тонуло вдаль, и легкая луна, как серебряная тень солнца, светила в измученное лицо стареющей матери, всегда занятой работой. Выдаивая верблюдицу, мать глядела на луну, на этот свет нищих и мертвых, потом персиянка ложилась на кошму и успевала только немного ласкать свою дочь, потому что сон быстро разлучал ее с нею.

Весною Заррин-Тадж в первый раз показала дочери на птиц, летевших высоко над песком неизвестно куда. Птицы кричали что-то, точно жалели людей, и вскоре пропали навсегда.

— Кто они? — спросила Джумаль.

— Они счастливые, — сказала мать, — они могут улететь на дальние реки, за горы, где растут листья на деревьях и солнце прохладно, как луна.

Джумаль не знала, что это такое, и не тосковала о реках и листьях. Она росла здесь, между барханами, и с высоты песков, насыпанных ветром, видела, что земля повсюду одинакова и пуста. Мать же плакала иногда и прижимала к себе девочку — она теперь была для нее дальней рекою, забытыми горами, цветами деревьев и тенью на такыре.

— Тебе хорошо там было, на реке и на горе?— спросила Джумаль.

— Нет, я там мучилась, — сказала Заррин-Тадж.

— А зачем думаешь, что хорошо?

— Я не думаю, мне кажется, — ответила Заррин-Тадж.

Маленькая Джумаль озадачилась; она взяла мать за палец и посоветовала ей:

— Тебе кажется... А ты люби меня одну, вот тебе и будет хорошо! А горы и реки — не надо.

При расставании с местом Джумаль всегда долго и грустно прощалась с тем, что остается одиноким: с кустом саксаула, у которого она играла, с куском стекла, с высохшей ящерицей, служившей ей сестрою, с костями съеденных овец и разными предметами, названия которых она не знала, но любила их в лицо. Джумаль мысленно тосковала, что им будет скучно и они умрут, когда люди уйдут от них на новое кочевье.

В низкой былинке травы, сухой и жесткой, как жестяная стружка, заключалось все, чем питались верблюды и овцы. Ослы помнили, вероятно, другую еду в забытом мире и часто кричали в своей нужде по ней.

По кочевым дорогам Джумаль ехала на самом маленьком ишаке. Пустыня шла мимо ее опущенных ног, она глядела на громадную голову осла,

больше, чем у лошади, на его уши, в которые попадает ветер, и думала, что осел — это остаток великана, но стал маленьким от горя, работы и редкой еды.

5

Когда прошло долгое время и Джумаль стала двенадцатилетней девушкой, она стала полной и хорошей. Лицо ее покрылось красотой, точно на нем выступила любовь и страсть ее неизвестного отца к Заррин-Тадж. Ничто — ни нищета рабыни, ни уныние — не помешало Джумаль стать ясной, взрослой и чистой. И пища ее, как она ни была бедна и однообразна по виду, была создана светом солнца, весенним ветром, водой дождя и росы, теплотою песков, и поэтому тело Джумаль было нежно, а глаза смотрели привлекательно, как будто внутри нее постоянно горел свет. Мыться ей было негде, — воды еле хватало только овцам, — и когда Джумаль становилось тяжело от сала на коже, она выходила туда, где дует ветер, чтобы ветер и песок освежали и очищали ее своим движением.

Однажды Атах-Баба довел кибитки до угрюмого места, где лежала на целый день пути одна темная глина, и велел остановиться. Такого печального такыра ни Джумаль, ни Заррин-Тадж еще не видели. Поэтому, вероятно, здесь давно никто не селился, и у края такыра ютилась добрая трава, прячась от жары и гибели в песок. К своей середине такыр понижался, и там в глинистой тьме стояла ветхая каменная башня. В той башне Атах-Баба разместил свою семью. Заррин-Тадж и

все другие женщины кочующего рода стали расчищать колодец, бывший вблизи древней башни. Никто не знал, чья эта башня и что в ней делали в старое время — молились или убивали. Нижняя наружная стена башни была убрана голубыми изразцами, а маленький купол был покрыт плитами синего цвета, и золотая змея лежала нарисованной на этих плитах.

Джумаль вместе со всеми матерями работала на колодце: она относила влажный песок в отдаление и находила в нем чьи-то кости. На краю песков слабо виднелись небольшие горы, — уснувшие тучи до зимы лежали на них, — а в другую сторону, говорил Атах-Баба, была Аму-Дарья и богатая Хива. Ночью Джумаль лежала около стены в нижнем помещении башни. Она слышала, как шевелятся скорпионы в глинистых ущельях, следила через открытый вход за одною звездой, которая движется в сумраке, как кочевница, и понимала заунывный звук текущего песка у подножья башни. Слезы и счастье находились около ее сердца, но Джумаль дышала осторожно и с недоумением непонимания значения жизни.

Атах-Баба приподнялся с кошмы и начал подкрадываться к Заррин-Тадж через других спящих жен. Джумаль подождала время, а потом позвала мать, чтоб она испугалась Атаха.

Но мать промолчала, а Атах-Баба нашел ее. Джумаль повернулась лицом вниз, в шерсть своей подстилки, и озябла от горя. В это время неизвестный темный человек сошел вниз из верхнего помещения башни и остановился среди лежавшего семейства, сделав рукою знак мира и приветствия. Джумаль подошла к нему и ответила на его приветствие. Пришедший человек был грома-

ден и худ, лицо его глядело добрым, как у животного, и глаза, несмотря на сумрак, смотрели на маленькую Джумаль с такою печалью, точно он был мертв.

Заррин-Тадж, увидев дочь и другого человека, сказала им:

— Это наше дело на нашей кошме, а вы уйдите отсюда, — и она снова обняла своего хозяина и мужа.

Джумаль схватила руку пришедшего гостя и заплакала по матери, однако гость не мог успокоить плачущую: он бросился бежать вон по такыру в дальнюю ночь, потому что Атах-Баба вскочил и погнался за ним. Джумаль, увидя это и свою жалкую мать, также побежала вслед за гостем.

Их бег звенел по такыру. Но отчаяние сильнее злобы, и безвестный гость, миновав спящие кибитки, пропал вперед во тьму от обессилевшего Атах-Бабы. Джумаль бежала следом за ними, неизвестно куда; она теперь почувствовала, что ей настала пора жить одной, с нею нет никого, даже мать живет отдельно от нее — своим сердцем и своей неволей. Она легла на холодную, ночную глину и умолкла от одиночества. Под нею тоже была умолкшая земля...

Атах-Баба шел обратно с погони, постаревший и опухший со времени последнего персидского аламана. Он увидел Джумаль, молодую и с жалобным телом, — она выросла на его стадах и стала теперь угрюмой от юности. Атах поднял Джумаль с земли и сжал ее небольшое неумелое тело, унося его в глушь такыра. Джумаль впилась ногтями в горло Атах-Бабы. Но если бы даже ему отрезали сейчас голову, он не оставил

бы ее, поэтому он не чувствовал боли от девушки, с жадностью нюхая запах полыни и ветра в ее волосах.

На другой день Джумаль не вернулась домой. Она ушла на дальний край такыра, пела там одна, выдумывая песни, и жить больше не хотела. За такыром начиналась новая земля — песок был смешан с суглинком, здесь трава росла гуще, и овцы, впившись в нее, мочили землю жадными слюнями.

Вечером, когда Джумаль уснула, ее нашла мать, разбудила и повела домой, потому что Атах-Баба ее продал и уже получил половину калыма — четыреста русских рублей и шестьдесят голов разного скота. Джумаль считалась гранк, то есть она не имела чистой туркменской породы и ценилась наравне с курдянкой.

Жених ее, пожилой Ода-Кара, сидел на ковре с Атахом и рассуждал об общем течении жизни в пустыне, о том, что делается в Гассан-Кули и по берегам Аму, что в Бухаре, говорят, опять открылся базар рабов. Ода-Кара знал многое, но он говорил, что ум его начинает путаться в бороде, потому что ему нехватает молодой жены для утешения.

Атах-Баба согласился, что без утешения жить никому нельзя: пусть лучше из человека выходит плоть, чем слезы.

— Но ты, Ода, уже взял недавно жену из кибитки Курбан-Нияза, — сказал Атах. — Она тоже не стара еще, и лицо ее хорошо.

— Я взял ее, — согласился Ода-Кара, — но пусть будет теперь другая. У меня жили в семействе шесть старых жен, одна умерла, а овцы окотились и ослицы дали приплод. Кто будет с

ними справляться? Старые жены стареют, потом помирают, — надо взять двух молодых, чтоб они не скоро померли.

— Ты недорого ценишь молодых, — сказал Атах-Баба, — и калым не враз даешь.

Ода-Кара возразил:

— Нет, дорого! Я много думал — кого мне взять: трех старых привычных старух или двух молодых. Но старые мясо не жуют и много его глотают, а молодые едят мало, но много беспокоятся. Я решил взять молодых.

Атах-Баба засмеялся, Ода-Кара тоже захохотал.

— Беспокоиться будут, Ода, твои новые жены... Где у тебя, старика, любовь осталась для них?

— У меня есть две жены, которых я никогда не касался, — улыбаясь, произнес Ода. — Они прожили в хозяйстве тридцать лет, и я их спрашивал: «Старухи, где же ваша любовь, куда она вышла?..»

— А они тебе что? — улыбался Атах.

— А они: слезами и потом ушла в песок — говорят. А я им говорю: «Нет, лучше я пойду спрошу про то у старых ишаков с кобелями!»

Заррин-Тадж и Джумаль сидели снаружи башни, у входа, и слышали разговор. Постаревшая персиянка плакала и прижимала к себе свою дочь.

Джумаль тоже ласкалась к матери и не обижалась на нее за то, что было ночью, — ее детское сердце еще жило без памяти.

— Мама, к нам гость приходил из темноты, когда ты спала с Атахом, — сказала Джумаль. — Он на такыр убежал.

Заррин-Тадж сказала дочери, что другие женщины слышали про этого одинокого гостя из песков. Он воевал с русскими далеко, в том краю, где леса и озера. Его русские взяли в аламан, а он убежал от них в пески и теперь живет один в страхе и бегстве.

— Значит, он скоро умрет: ему ведь нечего есть! — догадалась Джумаль.

— Он бежит второй год, — сказала мать. — Он лепит горшки из глины и оставляет их на кочевых дорогах. За это ему бросают битых овец, а горшки берут... Ода говорил, что гость бывает и в аулах, там он чинит самовары в чайхане, шьет чужие халаты и кормится...

Джумаль задумалась. Ее влекла таинственность жизни, пространство и далекий шум, который ей слышался несколько раз, когда она спала ухом на земле. Заррин-Тадж встала, чтобы подать новый чай гостю и мужу, но вдруг вся потемнела лицом и потеряла свою силу, не дойдя до ковра, где сидел Ода-Кара. Она непочтительно легла около гостя, и влажное бешенство смерти выступило у нее на губах. Ода-Кара вскочил и ушел в испуге, а Атах-Баба пихнул жену ногой, чтоб она отвернула от него свое страшное лицо. Заррин-Тадж повернулась сама и затихла. Она чувствовала жар, который сжигает ее усталые кости и внутренности, и ей становилось легче, точно все, что так давно изболелось и утомилось в ней, потягивалось и потрескивало.

6

Наутро кочевье было пусто. Атах-Баба еще ночью велел гнать стадо и бросил на месте все предметы и имущество ежедневной жизни. Род убе-

гал от чумы, которой заболела персиянка в ветхой башне, и теперь на сто лет это место останется безлюдным, потому что народ в песках живет слухом и долгой памятью. Джумаль залезла по стоптаным когда-то каменным ступеням и спряталась в верхней комнате башни; там лежала на полу деревянная ложка, валялся кусок чурека и стояли три недоделанных горшка; здесь, наверно, жил и прятался неизвестный гость, убежавший опять в пески.

Спустившись немного по ступеням вниз, Джумаль видела, что делается внизу около матери: Заррин-Тадж лежала одна на каменном полу, черная и спокойная от сознания своей грустной смерти. К ней пришла поглядеть на нее издали Зулейха, персиянка, похищенная в юности вместе с Заррин-Тадж. Потом явились перс Касем и два батрака Агар и Лала; они не боялись заболеть и погибнуть и коснулись руками каменного ложа, на котором лежала умирающая, и ушли, унося в себе чувство вечного прощания. Джумаль не подходила к матери, потому что ее могли увести отсюда, и ждала, когда люди отойдут далеко.

Пришедший после всех Атах-Баба оглядел все помещение, жалея, что пропадают ковры, кошма и посуда.

Он остановился вдалеке от Заррин-Тадж и громко сказал ей свои слова — те, которые обычно шепчут мертвому на ухо в промежутках между поцелуями, чтобы умирающая запомнила их и передала через смерть к богу на небо.

— Скажи там, пожалуйста, богу, — тебе все равно, ты ведь мертвая, — скажи там, чтоб я один остался на свете! Овец стало мало; онидохнут — я один с ними справлюсь, а люди пусть

станут душами и живут у бога на небе, где ты будешь жить.

Он ушел, но скоро вернулся опять, вместе с Ода-Карой, чтобы найти и взять с собою Джумаль, за которую уже были уплачены средства. Тогда Джумаль побежала вниз, приникла к матери и обняла ее всеми силами. Заррин-Тадж еще чуть дышала, и душа ее жила в жизни.

Ода-Кара и Атах побоялись брать эту невесту, обнимавшуюся с чумой, и ушли, проклиная общие убытки: один недополучил, а другой уплатил ни за что.

— «Смерть, говорил Мохаммед, это великая разлучница людей, — сказал Ода-Кара, — а меня она разлучила с овцами и баранами...

7

Все люди, стада и собаки ушли далеко. Такыр был пуст и глух, как туркменское небо. Джумаль стала заводить хозяйство из оставшихся вещей. Она нашла шесть туш баранов, лишь отчасти истраченных на пищу и брошенных в бегстве от смерти. Она сварила суп для матери и покормила немного ее. Заррин-Тадж все еще понемногу была жива, боясь окончательно ожить, чтобы потом сразу не умереть. Вечером Джумаль глядела с высоты башни в пустыню: она ждала, что придет гость, бегущий где-то в песках. Но никто не шел, — по такыру катилась трава, исчезая отсюда дальше, где она снова может расти.

Садилось солнце и снова вставало. Время шло, чтобы мучение, томящееся в сердце каждого человека, стало привычным. Заррин-Тадж опра-

влялась и начинала ходить и существовать по-прежнему.

Когда им нечего стало есть, Заррин-Тадж пошла с дочерью через такыр, чтобы дойти до хивинского караванного пути. Однако, пройдя лишь половину такыра, Заррин-Тадж опустилась на глину и не могла дальше итти.

— Мама, давай с тобой умрем, — сказала Джумаль.

Она легла с матерью рядом и закрыла глаза в терпении.

— Ты тоже закрой глаза и не смотри на меня! — попросила Джумаль. — Так мы скорей умрем. Чего зря глядеть! Ведь нечего, мы все уж видели...

Джумаль прижала мать к себе и заметила, какая она стала высохшая, старая и маленькая — меньше ее. Она попробовала ее пошевелинуть — Заррин-Тадж была легка, как сухая ветвь.

Джумаль встала и подняла свою мать. Она справлялась с нею и понесла вдаль по такыру, задумав умереть немного позже. Вечером Джумаль донесла Заррин-Тадж до песчаной границы такыра и легла с нею ночевать в теплое углубление.

Утром они увидели чужого человека, сидевшего около них. Он поздоровался с матерью и дочерью и вынул из своего мешка кусок баранины для угощения. Джумаль сразу узнала в нем пустынного гостя и обрадовалась ему. Гость не был туркменом, хотя и говорил на туркменском языке. Он имел одежду серого цвета, давно изношенную, и молодое ясное лицо, привычное к горю и бедствиям.

— Ты кто? — спросила его Джумаль.

— Я австриец Стефан Катигроб, — сказал бродящий гость, — а ты?

Джумаль никогда не слышала про австрийцев. Лишь два раза она видела, как живут люди в оседлых курганчах, и еще не знала, что есть на свете города, книги, война, леса и озера.

Пока Джумаль говорила, ела и смеялась с Катигробом, Заррин-Тадж, лежавшая одна в песке, молча умерла.

Джумаль через некоторое время хотела кормить мать и позвала ее, но персиянка не ответила. Тогда Джумаль подошла и попробовала ее. Она подняла на ней одежду и увидела грудь, похожую на два темных умерших червя, ввевшихся внутрь грудного вместилища, — это были остатки молочных сосудов, некогда выкормивших ее, — а кожа матери провалилась меж ребер, и сердце было незаметно: оно больше не билось. И вся грудь ее была так мала, что только немного и сухое могло там находиться, — чувствовать что-либо счастливое старухе было уже нечем, ее силы могло хватить лишь для мучения. Такая грудь ничего уже не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но на ней самой можно было склониться и заплакать. Рабыня умерла.

Катигроб стоял в стороне и наблюдал, как дочь ласкает умершее тело своей матери, наполняясь думой и скорбью. Затем, когда Джумаль прошептала в ухо матери свою просьбу на небо о счастливой судьбе, Стефан Катигроб приблизился к умершей, чтобы поднять ее и нести хоронить. От Заррин-Тадж не исходило ни запаха, ни теплоты, — Катигроб обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Он сам заплакал и отвернулся... Где-то

была его родина, шла война, он убежал отовсюду и скрылся надолго, может быть навсегда, в этой худой пустыне, давно рассыпавшей свои кости в прах и прах истратившей на ветер. Он, венский оптик, видит теперь одни миражи, исчезающие эфемеры света и жизни.

Катигроб опомнился от своей мысли. Перед ним в ожидании стояла Джумаль, выросшая в тоске, в голоде, рабстве, но живая, чистая и терпеливая. Австриец поднял ее к себе на руки и поцеловал в темные, доверчивые глаза.

Ночью Катигроб отнес покойную Заррин-Тадж далеко за пределы такыра и там закопал ее в песчаную глубину. Сверху он насыпал холм, но его мог скоро развеять ветер, поэтому австрийский солдат произвел шагомерную съемку местности, привязавшись к постоянной пограничной черте такыра. Он не хотел, чтобы человек, даже мертвый, был забыт. Съемку он записал себе в памятную книжку.

Джумаль уснула на прежнем месте, где умерла ее мать. Катигроб разбудил ее и повел жить в глиняную башню посреди такыра. Он понимал, что туркмены возвратятся туда не скоро — когда окончится одна война в Европе и, может быть, начнется другая, а к тому времени он умрет в одиночестве.

На другой день Катигроб оставил Джумаль одну в башне с остатками еды из своей сумки, а сам пошел за сто верст на хивинскую караванную дорогу, где был колодец Боркан.

Он прожил там шесть дней. Мимо него прошли два каравана купцов, затем проследовали пешком воры и дезертиры, скрывавшиеся к Каспийскому морю. Кому что нужно, тем работал

Катигроб, получая в ответ баранину, рис, лук, спички и вино. Он чинил обувь, дорожную утварь, смазывал болячки верблюдам и ишакам, показывал фокусы и рассказывал сказки.

На девятый или десятый день он обычно возвращался к Джумаль на такыр с пищей и заработанным добром. Однажды он привел больного ишака, которого бросил караван, и Джумаль вылечила и воспитала его. В другой раз Катигроб принес девушке бусы из ракушек Аральского моря и поцеловал ее в губы. Джумаль не противилась его чувству, но сама была равнодушна и не понимала, за что можно любить человека. Она помнила умершую мать и других женщин своего племени, — многие из них, когда умирал муж, смачивали водой яшмаки, чтобы иметь слезную влагу для сухих глаз.

8

Они пробыли вместе шесть лет, и такыр перед глиняной башней лежал попрежнему без звука, без жизни — пустой, как судьба Джумали. Стефан Катигроб по-старому ходил время от времени на караванную дорогу, но караваны пропали, лишь изредка ему удавалось заработать полмешка риса или тощую овцу.

В одну серебряную ночь, когда Катигроба не было, Джумаль услышала далекие выстрелы. Она взяла кинжал, спички, немного риса, села на осла и поехала в ту сторону, где кто-то стрелял. Она ехала всю ночь и весь день до вечера, ей никто не встретился, осел устал в глухих горячих песках и остановился. Джумаль сошла с не-

го и потянула за повод вперед, чтобы встретить человека или найти колодец.

Заночевав в неизвестном месте, наутро Джумаль снова повела своего осла вдаль и к вечеру дошла до маленького такыра, около которого был колодец с блоком и бурдюком. Джумаль достала воды, но вода оказалась густой и зараженной, как гной, — в колодце лежал мертвый человек ногами вверх, и громадные, сальные мухи ползали по саксауловому сруб. Осел, истекавший пеной жажды, отвернулся от бурдюка; тогда Джумаль отрезала подол от своей одежды и подожгла его, повернув осла таким образом, чтобы дым обдавал его морду и он не чувствовал бы вкуса воды. Осел начал пить и выпил три бурдюка, пока не опился и не умер от гнойной воды. Джумаль, зная, что завтра она тоже умрет, жалела лишь, что будет далеко лежать от матери.

Ночью Джумаль задремала, и дремота ее стала непроходящей, — она забыла, что живет, и делала, что попало: то вставала и ходила, то снова ложилась, потом опять бежала, улыбалась и плакала и все время вспоминала что-то все более забываемое, уносящееся от нее в сумрак, исчезающее, как дальний вопль, и протягивала за ним руки.

Ночью ей представлялись тысячи людей, бегущих по такыру, выстрелы и крик. Она хватала кинжал и бежала за ними, пока не падала в слезах своего отчаяния и одиночества.

Однажды она проснулась спокойной. Было прохладно. Луна светила ей в лицо, кругом тихо говорили люди: Атах-Баба, Ода-Кара и четверо незнакомых. За такыром, в песках, паслись оседлан-

ные лошади, горел маленький костер, и котел с водой кипел над огнем.

Джумаль встала. Ей никто не обрадовался и не удивился, что она еще цела, — наверное, у этих людей были свои неразлучные заботы. Но все же Ода-Кара дал Джумали кусок чурека, и она разглядела ружья, лежавшие около каждого человека. Ее спросили, видела она красных или нет, но Джумаль не знала, что это такое. Атах ей не поверил.

— Это ты отравляешь колодцы! — закричал он.

— Нет, — сказала Джумаль.

— Врешь, шпионка, — не поверил Атах-Баба, — поганая гранк! Рабы все красные!

— Дайте мне попить, — попросила Джумаль. — У вас вода в котле паром уходит.

— Завтра напьешься, — сказал Атах-Баба. — Эта вода солона для тебя.

Они стали пить чай и выпили всю воду из котла. Джумаль отвернулась от них и от злобы перестала хотеть пить этой воды.

Под утро все уснули, кроме Ода-Кара, который остался сторожить лошадей и оружие. Но, вспомнив, что Джумаль — проданная ему жена, Ода-Кара подполз к ней и лег рядом. Джумаль молча подпустила его, а потом, когда он крепко обнял ее и занял этим свои руки, Джумаль схватила его за бороду и воткнула ему в горло кинжал. Ода-Кара, вместо крика, только сумел прошептать последнее слово и умер.

Джумаль свалила с себя мертвеца и приподнялась на локтях. Все пятеро спали, луна садилась в утреннее небо, кругом было просторно и чисто. Она решила, что если ее мать-рабыня ле-

жит мертвая где-то, пусть погибают в песках и все эти свободные и богатые.

Джумаль встала на ноги, пошла к лошадям и без предосторожности освободила от пут стрекоженных степных коней. Одну же лошадь она повела за собой, собрала винтовки у спящих, связала их, чтоб они не расходились концами, и взяла с собою поперек седла. Ударив по лошади, Джумаль поехала долгою рысью в пески, свежая от утреннего времени и вспомнившая себя, точно напившись росы. Свободные лошади, непоенные давно, также бросились за нею и бежали не отставая, думая, что будет вода.

Спустя два или три часа она встретила красноармейский разъезд, который разоружил ее и велел дать сведения про басмаческую шайку Атах-Бабы.

9

После того события Джумаль долго не была на такыре с глиняной башней — десять лет. Она прожила все это время в Ашхабаде и Ташкенте и окончила сельскохозяйственный институт.

Джумаль Таджиева (она носила фамилию по имени матери) справлялась везде про австрийского военнопленного Катигроба, но о нем не было никаких сведений. Джумаль узнала, что где-то есть близ заунгусской впадины небольшой заповедник древних растений и там живет всего один человек с винтовкой и двумя собаками. Там же, вероятно, находилась глиняная башня и большой такыр. Но выехать ей было некогда, и год за годом она откладывала поездку.

Одною истекшей весною Таджиевой поручили определить место для опытного садоводства в глубине Кара-Кумов. Естественно, что садоводство лучше приурочить к такырной земле, чем к эоловым минеральным пескам. Джумаль Таджиева сняла свою европейскую кофту и юбку, надела персидское черное платье, покрылась белой тонкой шалью и утром верхом на лошади выехала одна из Ашхабада. У нее была десятиверстная карта пустыни, и она соображала по ней, где может быть большой такыр. Но вперед она направилась в заповедник древних пустынных растений, — она интересовалась этим как специалистка и жительница пустыни.

На пятый день скучного пути она неожиданно увидела синий купол башни с золотой змеей и вечный такыр, окружающий ее. Копыта лошади зазвенели по плотным плитам глины, как по мерзлоте; все так же было печально кругом, как будто время не миновало и сама Джумаль осталась юной и угрюмой, не видев городов и рек, не зная в мире ничего, кроме ветра, поющего над ее пустым сердцем.

Был полдень, майское солнце освещало всю песчаную, глинистую, великую и грустную родину Джумаль. Она подъехала к заброшенной башне, построенной когда-то ветхим, погибшим народом. Она сообразила: «Такыр велик, около него есть обильный колодец с пресной водой, я здесь поселюсь, и мы посадим сад, — здесь лежит моя бедная родина».

Джумаль вошла в башню. Попрежнему пусто и неуютно было нижнее помещение. На плитах пола лежала гадость каких-то людей и покоилась раздавленная фаланга. В углу находился скелет

человека, покрытый остатками одежды, и кости его были вдавлены внутрь от убийства или по-смертного надругательства. Джумаль наклонилась к скелету — кости его давно иссохли, свернутый череп глядел в стену, нескольких ребер не хватало, и грудь была смята точно ударом кувалды. В лохмотьях австрийской куртки она нашла карман, но никаких знакомых ей бумаг и памятной книжки там не оказалось. Лишь на стене у выхода осталась надпись химическим карандашом по-немецки:

«Ты придешь ко мне, Джумаль, и мы увидимся».

— Я пришла к тебе, и мы встретились! — сказала Джумаль вслух одна в гулкой башне, под спудом ее высоты.

Выйдя из башни, она поехала по такыру кругом, чтобы снять с него глазомерный план для суждения о размерах будущего садоводства. Проехав несколько верст, она увидела в стороне, в песках изгородь из колючей проволоки и направилась к ней. За изгородью росли редкие травинки, вдалеке стоял домик сторожа, а среди огороженного участка находились три русских креста над чьими-то могилами и один обычный самородный камень, поставленный вертикально. На камне имелась высеченная надпись латинскими буквами «Старая Джумаль».

Джумаль сошла с лошади и опустилась на колени перед колючей проволокой, закрыв лицо персидским платком. Она не знала, что ей нужно сделать иначе. Она вспомнила слова, которые жалобно говорила про кого-то ее покойная мать: «И что это за плохое горе мое! Тот, кто ушел, назад никогда не вернется».

Отняв платок от лица, Джумаль разглядела древнее реликтовое растение — серый стебель, росший около камня матери. Она его узнала по рисунку, названию и еще по детской памяти, но значения его раньше не понимала. Следовательно, она доехала, куда хотела, — здесь и был заповедник растений, исчезающих с земли.

ЧИТАТЕЛЬ!

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав ваш точный адрес, профессию и возраст.

Просьба к библиотечным работникам организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней.

Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва, 9, Большой Гнездниковский пер., д. № 10. Издательство «Советский писатель».

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Река Потудань | 3 |
| Бессмертие | 43 |
| Третий сын | 70 |
| Фро | 79 |
| Глиняный дом в уездном саду | 110 |
| Семен | 128 |
| Такыр | 144 |

Ответств. редактор Е. Усиевич
Техредактор Н. Греймер
Уполн, Главлита Б 24044

Сдана в производство 15 декабря 1936 г.
Подписана к печати 21 июля 1937 г.
Тираж 5 000 экз.

С. П. № 26
Количество печ. лист. 5 $\frac{1}{2}$
Авторских листов 6,5
В печ. листе 49 280 зн.
Заказ № 5021

Типо-литография имени Воровского,
ул. Дзержинского, 18.

Цена 2 р.
Переплет 1 р. 25 к.